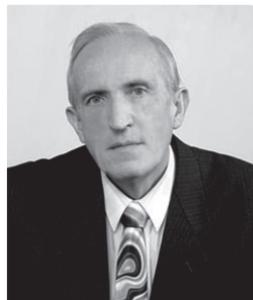


Юрий САЛЫЖИКОВ

Родился в 1943 году в Омске. Окончил филологический факультет КазГУ. Первые рассказы публиковались в газетах «Казахстанская правда», «Ленинская смена», «Огни Алатау» и других. В 1981 году в издательстве «Жалын» вышла в свет книга прозы «Непутевая птица счастья». Издательством ТОО «Новая словесность» было выпущено в свет более 20 книг повестей и рассказов: «Мост вздохов», «Колокола осени», «Подсолнухи на балконе», сборники новелл «Звездное небо евразийства», «Степная кобылица в лиловых яблоках» и другие. Живет в Алматы.



ЛОДКА СКОРБИ НА ЗЕЛЕНИ ВОД

(Фрагменты из романа в рассказах)

Стихи мои, бегом, бегом.
Мне в вас нужда, как никогда.
С бульвара за угол есть дом,
Где дней порвалась череда,
Где пуст уют и брошен труд,
И плачут, думают и ждут.

Где пьют, как воду, горький бром
Полубессонниц, полудрём.
Есть дом, где хлеб как лебеда,
Есть дом, – так вот бегом туда.

Борис Пастернак

Рассказ первый

ОСТРОВ ЗАРЫТЫХ СОКРОВИЩ

Горечью этой, свирепой и жгучей, как немое презрение, я ещё буду наступит. Комом в горле перехватит дыхание, точно, подкараулив бесславно и честно врасплох, наступит расплата за упрямство трудов, не суливших выгод, за годы, потраченные бестолково разумным доводам вопреки на поиски слов. Самых лучших, заветных. Не пустомель, конечно, но беспечных, простодушных и мудрых без начетничеств и скуки, с провидением великой цели, с предчувствием неутолимой, вечной любви – нужных для мира слов.

Звездочёт, плутовато посмеиваясь, напрогочил в судьбе моей долгие пустые хлопоты. От неведений, верно, желал уберечь, от наивных заблуждений и опрометчивостей в выборе пути. В конце концов, как ни относиться к прорицаниям – с предубеждением или прохладцей, не воспринимая всерьёз, но семи пядей во лбу не понадобится, ни особой прозорливости: новой словесности не скоро



цветь в просторах Отчизны. Когда авторитарное чванство стало мерой вещей и обыкновением, сладкий пафос фарисейства не коробит в брезгливости, и каждый знает, что с трибуны следует вещать, что домочадцам на кухне в запальчивом полемическом чаду откровений, а что печати не подлежит ни под каким благовидным предлогом, о чём толковать? О каких исканиях? О каком служении? В угоду доблестной тоске карьер?

Бывало, приходя в отчаяние от безрадостных перспектив, опускаясь до дна в крошечный мрак безысходности, внутри себя неожиданно-негаданно, в каком-то дальнем, потаённом уголке обнаружишь светлое пятнышко, похожее на скользнувший по отвесному лучу зыбкий свет «оттуда». И опешишь, как может подивить лишь пустяк, невидаль, примелькавшаяся от пренебрежений повседневности. Какая ерунда, какая глупость предаваться унынием! Что проку в самоедствах? Ну, не пофартило с веком – надо ж, в какой несуразный, кровавый, в нескончаемых переустройствах занесло! – что с того? Где те лета, где тот край, в каких бы не тосковалось? Найти бы перышко, обмокнуть в лучистую каплю на доньшке, что сулит нечаянную радость, да начертать пару строк, способных кого-нибудь утешить в нужде...

И бесхитростная эта затея, прельстив доступностью, как уловкой, умчит легковёрное воображение, подхватит вихрем словно в детстве, когда в час неприкаянности стоило забиться в укромном уголке, присесть на корточки, вздохнуть сокрушенно, ладонями втереться в щеки – и нет тебя. Вроде только что был и исчез. По душевной ли легкости, не затруднённой на отклик, не замороченной вдалбливанием догм, или из-за неподъёмной тяжести в груди, но порой случалось, оттолкнешься от земной тверди и легко воспаришь в какие хочешь поднебесья. Невесомый, раскованный, я лечу, недоступный для стрел, для усмешек и злых сарказмов...

Там, внизу, наш старый дом многоэтажный. Пространство огромного двора очерчено, как багетной рамой, сараями в красной кирпичной кладке. Возле одной из них пятачок густо насаженных цветущих деревьев. Нынешним жильцам, всеведущим, поднаторевшим в пересудах и сплетнях, наверно, невдомёк, что эти раскидистые урючины и персиковые деревья были посажены некогда крохотным карапузом...

Идею, помнится, подсказал мой дед. Однажды ранней весной на прогулке он обратил внимание – из косточек, брошенных прошлым летом небрежной рукой – глянь-ка! – проклёвываются рьяно то тут, то там розоватые ростки. И добавил, чуть смутившись, с неуклюжей, никак не подходившей к волевому скуластому лицу мечтательностью, мол, если их перенести в наш двор, то, спустя некоторое время, поднимется настоящий сад. Мимоходом заметил, вскользь, а смутил мой покой.

С той поры я изнемогал от нетерпения, поджидая теплого вешнего ветерка, что, возвратившись на круги своя, овеет стылую землю, обратит в белый пар рыхлый пористый снег, и, повинувшись законам вечности, станет пробиваться, пойдет в наступление несметным полчищем острых пик зеленая травка. В это благодатное время я выискивал в арыках ростки с толстыми багровыми семядолями, ползал на коленях, перемазываясь влажной землей, выкапывал стебельки, стараясь прихватить корешок поглубже, а в висках почему-то принималось отдавать учащенным перестуком.

Напротив нашего сарая я справлял в лунках, выкопанных неумелой лопаткой, новоселье моим саженцам, которые грудились в невообразимой тесноте. Впрочем, это обстоятельство, возможно, оказалось решающим в том невероятном факте, что беззащитные, хрупкие стебельки выстояли среди дворовой суеты, каждодневных, крикливых игрищ, свар или просто озорства без умысла, когда безразлично, что порушить, искромсать походя. Конечно, я стоял на страже, дрался неистово с отпетыми сорванцами, выдворял наглуую дворницкую козу с крутыми загнутыми рогами, испытал на долгую память крепость её лба и леденящую пронзительность стеклянного взгляда. Так или иначе, но молодая поросль, сплетаясь ветвями год от года всё теснее, встречала все невзгоды стеной, выстояла в упорстве, а однажды произошло совершенно неправдоподобное событие – все деревья оказались в цвету...

Я забирался в бело-розовую чашу, от которой светлело в глазах, хмелел от душных ароматов и томного гудения пчёл, копошившихся в цветках, осыпая пылью с потревоженных тычинок, будто золотым песком, и предавался разным шальным фантазиям – ежели в урючной косточке скрыто столько удивительных тайн, то что, должно быть, запрятано в человеке? Какие неведомые возможности ждут не дождутся своего часа?

Разве можно было поверить, даже смутно предположить – в каком непримиримом противоречии эта детская догадка окажется с господствующей в державе идеологией, насаждаемой непререкаемо: феномен человека – чистая доска! Чего хочешь, то и пиши в сознании. Правда, кое-кто из недоверчивых, твердолобых приверженцев гнилого индивидуализма пытался возразить, а как, мол, душа? Как быть с бессмертным духом и тайной предназначения, заложенной в каждом, как зерно истины? Иначе разве феномен?.. Впрочем, с недоумения этого как раз начиналась крамола так называемого инакомыслия, тлетворного влияния, о котором я, конечно, не подозревал...

Приметив за сплетением цветущих ветвей вышедшего во двор моего закадычного друга Даньку Ольхова, я зазываю его, и мы вместе предаёмся праздным грёзам, уставая при этом непостижимо, словно от каторжных трудов. И сладко намаявшись, наистязав себя сумасбродством полетов фантазий, мы выбираемся из одуряющих кущ, как из дальних странствий возвратясь, с особым, пушистым рвением принимаемся за наши разбойные игры...

С отструганными палками мы тарахтим отрывистыми пулеметными очередями, швыряем гранаты, что взрываются в бумажных кулечках земляными комьями, а то остервенело сходимся в жестокой рукопашной схватке, в которой поражение с непримиримостью позорней смерти. И честным подтверждением доблестной гибели являлось картинное падение с раскинутыми руками, невзирая на грязь, там, где наступала без удобств, пронзив грудь навывлет, немилосердная пуля. С подчеркнутой рисовкой обставлялось падение, выявляя незаурядность артистического дара... Пока тетя Лёка, высунувшись в форточку, грозным окриком не пресечет батальную сцену, зазвав предстать вояк пред своим грозным оком. Военные игры в нашем дворе пребывали под негласным запретом взрослых – не столь уж далеко отгремевшее лихолетье заронило в их истерзанных душах суеверный страх...

– Ишь потеху устроили! – переворачивая жарившуюся на сковородке картошку, выговаривала на кухне тётя Леокадия. – Другой нельзя придумать игры? Без

кривляний и паясничания... Знали б вы, что такое война!.. К Корнаухову лучше б сходили, пусть порасскажет...

Свесив понурые головы, не чуя за собой вины, мы спустились этажом ниже. Долго барабанили в дверь, пока, наконец, послышался грохот свалившегося в коридоре, задетого в неловкой спешке велосипеда, выдав известную повадку соседа-фронтовика неизменно что-нибудь ронять по ходу порывистого своего движения. Он живописно выругался, ещё раз свалил злополучный чужой драндулет в тесноте коммунальной квартиры, зацепившись за педаль штаниной, шумно пыхтел, прилаживая на прежнее место. Зато, побряцав дверной цепочкой, предстал на пороге без тени конфуза, чуть подбоченясь, с лихо подкрученными, свирепо прокуренными, точно прихваченными ржавчиной, усами.

– С чем пожаловали, судари любезные?

– Чтоб вы про войну рассказали.

– Эж! С чего это вдруг?

– Не вдруг. Нас Данькина мама послала. Мы в войну играли, а она наругала.

– Понятно. Всем довелось хлебнуть лиха. И в окопах, и в тылу. Обжегшийся, как известно, на холодную воду дует... Впрочем, как я полагаю, вы ведь не ваньку глупого валяли, а, можно сказать, отвагу в себе закаляли. То же ведь дело нужное... Да вы проходите. Что в дверях маячить, как неприкаянные.

Полутемным коридором, заставленным по неистребимой привычке коммунального житья затхлою рухлядью, мы протискиваемся в дальнюю узкую, как пенал, комнатенку.

Железная кровать с облупившейся краской – символ неприхотливого послевоенного быта! – заправлена на солдатский манер серым дерюжным одеялом. Стол, покрытый клеёнкой, шаткий табурет – вся меблировка. У окна – мольберт. Корнаухов – художник, в училище до окопных лет постигал науку изящных искусств, но не успел завершить, война помешала. Вернее, неизбежному отчислению, изгнанию с позором помешал призыв, поскольку не в чести у начальства был нерадивый студент из-за своих вычурных картин. Всё какие-то ракурсы измысливал и диковинные формы, от которых маститых педагогов принималась колотить мелкая дрожь, близкая к припадку. Кого взрастили, какую гидру пригрили на груди? Неровен час, если кто донесет, куда следует, схлопотать можно за подобные художества. Это ж страшно сказать – авангардизм, гнилое растление. Разве этому негодяя учили? Полному презрению законов перспективы? На коллегию выносили вопрос, чтобы очистить ряды, наставить заблудшего на истинный путь... А вернулся он с фронта – пуще прежнего принялся малевать несусветности. Впрочем, отчасти это было объяснимо. С тяжелой контузией вернулся. Но с другой стороны, разве это оправдание для вызывающей неприязни реалистического восприятия жизни в угоду собственным амбициям? О лаврах и признаниях, разумеется, не могло быть и речи... Он в зоопарке работал, а на досуге продолжал рисовать свои несусветные творения.

Запущенность и неуют в тусклой комнатенке выдают холостяцкий быт, где воздух пропитан запахом краски, одиночеством, крепким табаком, а ещё почему-то леденцами.

– Это я курить бросил, – пояснил он, придвинув нам раскрытую жестяную коробочку. – С боевыми самокрутками приобрел дурацкую привычку, крепко укоренилась, но теперь, верьте слову, скручу ей башку. Расквитаюсь!.. Угощайтесь

Чуть пожеманничав для вежливости, мы прихватываем по полной пригоршне разноцветных конфет, принимаемся звучно клацать на зубах кисловато-сладкими леденцами, а я приблизился к мольберту.

– Новую картину рисуете? – поинтересовался я. – Можно краешком глаза глянуть? – спросил, томясь от неопределенности возникшей паузы, а сам почему-то невольно приподнял краешек тряпки, что накрывала холст, и остолбенел.

В традициях двора, перевозосившего горлопанов и не чтившего своих пророков, скептически думалось: что уж там мог намалевать доморощенный, непризнанный самоучка? Жалкая какая-нибудь, кустарная поделка, внушающая сострадание своей беспомощностью, полной несостоятельностью. Но первый, брошенный мельком взгляд весьма обескуражил. Разухабистостью броских мазков подивил, небывальщиной... Лиловые изломы гигантов индустрии – неперменные атрибуты трудовых пятилеток – небрежным жестом были отодвинуты в туманную даль, и самоходный комбайн на колосающейся в золоте тучной ниве – краса и гордость ратных битв мирных хлебопашцев! – отеснен без подобострастия на задний план, словно давая понять намеком, выстрадавшим в убеждение: не хлебом единым жив человек... Зато роскошно буйствовала бело-розовая чаща – не мои ли, нечаянно подумалось, персины и урючины? Цветущие ветви, обжив вольготно, кто только ни населял. Дикобраз страшал добродушием, забавный кенгуру бахвалился полным карманом причуд, а пятнистый жираф, задрав кверху голову, тарачился от выплясывавших вразнобой и наискось витиеватых вензелей: ОН ВЕДАЕТ ТАЙНУ. Длиннохвостые птицы высвистывали какой-то давний, забытый мотив, щербатый мужичишка в облезлом треухе и стёганом ватнике, оскалившись куражистым бражником – трын-трава ему всё, и море по колено! – карабкался вверх по веревочной лестнице, а в небесной лазури, распахнув широкие белые крылья, парил ангел с дымящейся, как заводская труба, папиросиной «Беломорканал». Но что особенно поразило... В центре на ветке восседала диковинная, с золоченой лирой птица, будто воспылав намерением музой стать, с большими обнаженными женскими грудями в нежной прелести сосков и с лицом... Тёти Лёки!.. Не нынешней, жарившей на кухне картошку, а той далекой по нынешним временам, юной, обворожительной, из предвоенной, незабвенной поры...

– Какая молоденькая! Красивая... Это она раньше так выглядела? Вы что... Дружили? – высказал я предположение, не в силах скрыть изумление.

– На танцы вместе ходили, – отвесив нижнюю губу, горемычно признался Корнаухов, но неожиданно повеселел: – Говорят, такой парочкой смотрелись... Вот ведь судьба-вертихвостка, как бы всё иначе могло случиться, если б не война...

– Целовались? – попытывался я с присущей въедливостью, хотя чувствовал, что эти расспросы неприятно задевали Даньку. Даже коробили, принимая во внимание женские прелести, которые выводила на холсте с присущими фантазиями и преувеличениями кисть одичалого от одиночества мужчины. – После танцев домой провожали?

– Как без того!.. Разумеется. Дело молодое!.. – хохотнул бесшабашно Корнаухов, но, спохватившись, осекся: – А вы, надобно заметить, весьма беспардонный народ...

Он порывисто метнулся к мольберту, принялся прикрывать тряпкой холст, суется и краснея, будто сконфуженный, застигнутый врасплох за предметом

своих обожаний подросток, а вовсе не бывалый, прошедший сквозь огонь и беды фронтовик.

Сказать по правде, картина производила какое-то двойственное впечатление. Дух захватывали дерзость замысла, яркость красок, словно в пику всем канонам и косностям, но удручала, заслоня достоинства несомненного таланта, какая-то нарочитая пошловатость, перехлест грубоватой вульгарности, как отсутствие вкуса или облагораживающего влияния, когда мечтательность возвышенного чувства, точно устыдившись собственного откровения, принимается ёрничать, перевирать, передергивать в жалких подменах. Так вихрастые подростки с едва пробившимися, редкими усиками, опустив томления, робости первой любви, гогочут в подворотне, повествуя с бахвальством об удали быстрых сердечных побед, ржут гортанно. Художнику разве такое пристало? Разве сыщутся оправдания, что неустроенный быт заел, когда служение музам не терпит суеты? Сколь ни была б очевидна недюжинность дара, разве найдутся отговорки слабине, мол, невзгоды, лишения не способствовали подлинному взлету? Никто не станет по репьям проследивать путь плутаний, коль очевиден изъян. Будто какого-то облагораживающего влияния не доставало. Обыкновенного, женского...

Тут меня осенило. Я даже чуть вздрогнул, уловив внутри себя толчок осенившей внезапно разгадки. Схватил за руку Даньку, потащил в коридор, где дышал ему в ухо с жаром и запинаясь.

– Ты понял? Догадался?.. Твою маму... Тетю Лёку нужно срочно сюда привести.

– Что ты надумал? – не мог взять в толк приятель или прикидывался недогадливым из-за распирившей, безотчетной ревности.

– Они любят друг друга! – горячо убеждал я его. – Если прежде случилась промашка, то теперь всё можно поправить. Понимаешь?

– Это что ж выходит... Он станет моим отцом? – вопрошал Данька, не выдав особых восторгов.

– Не отцом, а отчимом. Чем тебе плохо? Хороший человек! В зоопарк вместе будем ходить... Лишь бы у них всё сладилось...

Мы тащим упиравшуюся в отчаянных отговорках Леокадию – в халате, мол, волосы не причесаны, и руки луком пахнут, но мы неумолимы, преисполнены непреклонной решимости, свойственной возрасту, когда неведомы терзания по поводу ответственного шага. Быть или не быть? Подводим не подозревавшую ничего женщину к мольберту и, несмотря на бурные протесты Корнаухова, стягиваем покрывало.

Произведенный эффект, понятно, не выразить никакими словами. Сосед-самородок, словно уличенный на месте преступления – куда в мечтах себя завлек, залился краской, пот мелким бисером проступил на лбу, и тетя Лёка тоже густо зарделась, устыдившись своей молодой ослепительной наготы при всех. Совершенно очевидно, без каких-либо экивоков и двусмысленностей в толкованиях затейливого замысла авангардистского полотна, что кистью водила, побуждала к вдохновению пронесенная сквозь житейские невзгоды, но не потускневшая, не утратившая своего пыла и искренности негасимая любовь...

Видя, сколь безнадежно затянулась немота сцены, как не хватает нужных для объяснений слов, я не утерпел заметить вскользь, не избежав, понятно, пусть и оправданной случаям, помпезной многозначительности:

– Всякие в жизни бывают стечения обстоятельств и досадные ошибки, но нельзя допустить, чтобы из-за этого вся жизнь оборачивалась ошибкой.

– А ты как считаешь? – спросила у Даньки вдруг разволновавшаяся почему-то Леокадия. Тот помялся в неопределенности, хотел было даже пожать плечами, но, благо, я оказался рядом, больно ущипнул его исподтишка, отчего он чуть было не вскрикнул, зато кивок был истолкован как несомненный жест великодушного одобрения. И женщина, словно только этого и ждала, просияла разом, принялася порывисто обнимать сына с жаром своей нерастраченной нежности...

Вот за этим, собственно, я и прилетал. Воспарял, как говорится, духом, ибо в прошлый раз всё было так, но чуть иначе. Всё было так, но в конце события приняли совершенно иной оборот.

Нас с Данькой предварительно выставили за дверь изнывать в удушливой полутьме коридора, и разговор, повернув в иное русло, обернулся какой-то непостижимой невнятистью. Корнаухов растерянно что-то бормотал, вяло мямлил про свои опаски, про несостоятельность для семейного счастья, а Леокадия, вместо того чтобы решительным образом отмести эти обычные поползновения мужской мнительности, терзающей наиболее рьяно тех, кто с пылким воображением, пресечь их в корне, в зачатке, поддакивала некстати, стушевавшись от волнения: «Ты безусловно прав... Ничегошеньки тебе не светит... Ты жизни своей не щадил, грудью вставал на защиту Отечества, а выразить себя, выходит, не вправе... Очень уж у нас не любят тех, кто высовывается. Да и не дадут просто-напросто шагу сделать, раз уж идеологией признан зловерным – твой авангардизм... Так и будешь мыкаться, прозябать, терзаться, пытаюсь пробить лбом стену – себя изводить поедом и близких, если себя не предашь... А предашь, тоже ничего хорошего. Неудовлетворенность собой будет сидеть внутри, как червоточина, разъедать попреками о несбывшемся... Я понимаю, что у тебя свой путь, и гирей быть на шее, обузой, не хочу... Между прочим, мне предложение сделал Белугин из зубопротезного кабинета. И знаешь, о чем он спросил? “Леокашенька, – спросил он, – сколько у вас пальчиков?” “Десять, – говорю, – как и у всех”. “У вас, – отвечает, – будет не как у всех. У вас будет по золотому кольцу на каждом пальчике от лучшего ювелира”. Понимаешь, какая диаметральной противоположность? А ты мечтатель... Авангардист!.. Ты, конечно, счастливый человек... В изначальном, неиспорченном смысле настоящего счастья, для которого создан человек, как птица для полета, когда никакая грязь и пошлость не липнут, а потому никакие унижения не сломят, не согнут... И я, разумеется, помехой быть не хочу!..»

Такой вот нагородила вздор!

Конечно, тетя Лёка работала маникюршей, и золотые кольца на пальцах, возможно, имели для неё важное значение, обладали особой притягательной силой, но не до такой же степени!..

И я вернулся...

Я вернулся в тот дом, где хлеб, как лебеда, и всё исправил.

Усталый, намаявшийся от распутывания узла житейской головоломки, что так долго, несносно долго терзала меня, мучила бессонницей, не давала житья, а теперь я с легким сердцем, безмятежный от удачи, когда исполнен честно долг, взываю ввысь, и старый дом многоэтажный удаляется, на волнах памяти уплывает наш просторный двор, очерченный сараями в кирпичной кладке, как багетной рамой, где пятачок густо насаженных цветущих деревьев похож на остров...

Хочешь, дружище, тебе этот остров подарю? Не знаю, найдутся ли там зарытые сокровища, но чем богаты, как говорится, тем и рады. Владей!..

Пригласим дикобраза, чтобы страшал добродушием, забавного кенгуру с полным карманом причуд да пятнистого жирафа, который, запрокинув голову, станет тарашиться оттого, что знает тайну, недоступную нам.

Пусть длиннохвостые птицы засвищут давнюю забытую мелодию...

Рассказ второй

ВВЕРХ ПО ВЕРЕВОЧНОЙ ЛЕСТНИЦЕ, СОРВАВШЕЙСЯ ВНИЗ

На древнем караванном тракте с ласковым названием Шелковый путь, по которому ступала нога Заратустры, и полчища Чингисхана направлялись порушить легендарный Отрар, на ветхозаветной дороге по необозримой Евразии, где гулкой конский топот свирепых веков замураван сизым, оплывшим в волнистых разводах асфальтом и полынный зной Великой степи до озноба сквозит, автобус томился у обочины в непредвиденной остановке. Угрюмый шофер терпеливо звякал гаечным ключом в моторе, пассажиры, притомившиеся от духоты и долгой тряски, подрёмывали, развальясь. Ну, а я, чуть прикрыв глаза, предавался в глубоком мягком кресле праздному сочинительству.

Повод был, в сущности, пустяковый.

На окраине поселка босоногие сорванцы затеяли среди буйного бурьяна известную мальчишескую баталию – тархтели автоматными очередями, картинно падали, как подкошенные, навзничь. Пожилой мужчина с костью увлеченно наблюдал за игрой, а потом ни с того ни с сего небритая, точно в присохшей мыльной пене, щека судорожно задергалась, скупая слеза навернулась у глаз и, блеснув на солнце, скатилась, словно звезда с высокого полуденного небосвода, в придорожную, пушистую пыль. Тучная женщина, проходя мимо с авоськой, набитой буханками свежего хлеба, приметив невольное расстройство бывалого отставного солдата, принялась зычно, с протяжными руладами в голосе отчитывать понурых бедолаг. Так некогда и нам досталось на орехи от тёти Лёки гневных слов: «Ишь, потеху устроили!..»

Я сочинял рассказ, ибо давно хотелось как-то исправить вопиющую несправедливость судьбы, пусть случившуюся довольно давно, но никак не выходившую из головы, да всё руки не доходили. Всё недосуг было в извечных хлопотах, суматохах, точно какого-то повода не доставало. Быть может, затем и случаются ниспосланные небесами всякого рода мелкие непредвиденные поломки, аварии, чтобы приостановиться у обочины дороги, навести в делах и мыслях надлежащий порядок?..

Наконец автобус, взревев мотором, набирающим обороты, медленно выворачивает на трассу, чтобы продолжить прерванную езду, и легкоатлетическая наша дружина, направляющаяся на универсиаду, разморенная пеклом, вновь оживляется.

Толя Забубённый вялым мановением руки привлекает гитару, принимается нескладно тренькать струнами, словно спит и видит, чтобы подобрать мелодию к излюбленным стихам, сделав их песней: «Быть знаменитым некрасиво...». Однако мелодия не складывается, ноты будто лезут на рожон, рассыпаются в упрямстве, а неловкие пальцы с не меньшим упрямством пытаются придать им какую-то стройность, что в неисповедимой жажде просит, должно быть, душа.

Не выдержав, Генка Грошев – Звездочёт и мечтатель – приподнимает за спанно прилаженную на моем плече голову с дымчатым всклокоченным чубом, предлагает свой вариант, выводя тоненько на манер закипающего чайника: «... не это поднимает ввысь». И будто масла подлил в огонь давнего незавершенного спора – не это, то что же? Я подтягиваю, вношу посильную лепту в нестройный хор. Явный разнобой и какофония неожиданно увлекают, и мы дерём глотки до хрипоты, упиваясь нарочитым вывертом наизнанку.

Константин Петрович, наш Бугор, восседая рядом с шофером как вперёдсмотрящий, приметно багровеет, мочка уха, пронзенная солнечным лучом, горит крупным рубином. Ему хочется взмолиться: «Братцы, ну сколько можно!.. Мало, что напрасная трата энергии, так ещё и дурная примета перед ответственным стартом – недаром говорится, мол, рано пташечка запела, как бы кошечка не съела...» Но он сдерживается. Молодость нерасчетлива, как незрелое вино бродит, грозя всякую минуту высадить пробку избытком и клокотанием. Не до меркантильных оглядок!.. Проще всего прищипнуть, приструнить грубым окриком, но не в его это деликатной натуре. Лишь ворчит под нос, в себе переживая – вроде остепениться пора, за ум братья, а не впадать в ребячливость. Впрочем, мужчины в спорте – это уж точно! – всегда как дети...

Пригородные поля, сменив за окном выжженные зноем холмы, потянулись предвестием скорого прибытия. Молодая ранняя капуста на грядках поблескивает зелеными касками, точно новобранцы залегли шеренгами в наспех вырытых окопах. Разноцветная радуга полощется в ясной небесной лазури невесомым коромыслом. Радуга не выдумана. Это трактор тарахтит натужно, и водомёт хлещет длинной серебристой плетью, от которой радуга виснет досужей выдумкой.

Тополя вдоль обочины хлопают в изумрудные ладоши, будто высланные вперед для встречи гостей, приветствуют, проявляя отнюдь не показушное радушие, и пассажиры невольно принимаются ёрзать в креслах, вертеть головами по сторонам, томясь в смутных предчувствиях чего-то неведомого, что сулят неизменно новые города.

Пропыленные автомобили вытягиваются на трассе длинной вереницей, чадят нещадно, и душное марево колышется над выплывающими бетонными коробками жилых кварталов, как в бреду. От асфальта и зданий пышет, точно от жаркой духовки, густые кроны деревьев вяло никнут, не принося желанной прохлады. На перекрестке притягательным магнитом для страждущих маячит оранжевая бочка с квасом, народ толпится, изнывая в очереди на солнцепёке, а обладатель темной пенистой кружки припадает губами к краю, глотает жадно, и лоб ослепительно поблескивает от проступившей мгновенно испарины.

Афиши, подмигивание светофоров. На площади перед белыми колоннами университетского парадного подъезда автобус круто разворачивается, дверца распахивается, и мы, наконец, разгибаем занемевшие от долгой езды колени, с шумом выгружаемся.

В одной руке у меня большая дорожная сумка, набитая туго спортивной амуницией, другой – я придерживаю покачивающийся на плече в такт каждому шагу длинный таинственный предмет в брезентовом чехле, интригуя диковинным видом прохожих. Это неизменный мой спутник, причиняющий в странствиях уйму неудобств громоздкостью, – фибергласовый шест. Впрочем, речь о нём ещё впереди...

Пестрой толпой, напоминающей кочевой табор, мы проследовали гулким вестибюлем, пересекли внутренний двор университета, направляясь к зданию общежития. И тут на тихой, тенистой улочке я столкнулся буквально нос к носу... Нет, кого ожидал встретить, готовясь к самому неожиданному сюрпризу, как раз не встретил. Так обычно бывает, о ком не думаешь – не гадаешь, тут-то и повстречаешь. Данька Ольхов! Ты ли? Вот так случай... Жили в одном городе, а после того, как я переехал в другой район несколько лет кряду, считай, не виделись. Кинулись обнимать друг друга, трясти – что за непостижимое стечение обстоятельств? Оказывается, мой друг детства, храня верность нашему давнему увлечению бегом, переключился в последнее время на марафон и сразу преуспел на новом поприще. Призером нынешнего первенства республики стал, в состав сборной был включен, и потому предстояло выступить на чемпионате, проведение которого по срокам совпало с универсиадой.

– Ты где остановился? Тоже здесь?.. Ну, тогда ещё наговоримся! – восклицаю я, кинувшись догонять своих, что уже скрылись в здании общежития, горя с долгой дороги нетерпеливым желанием расквартироваться.

Комнату мы заняли нашей неразлучной троицей, да ещё Шумов-Корабельский напросился, поскубывая черную шкиперскую бородку и словно взывая к состраданию вращением крупных, чуть навывкате глаз.

Мы принялись дружно устраиваться. Скинув потные от жары рубахи, распаковывали тугие сумки, застилали чистыми простынями полосатые матрацы. Затем, попадая на кровати с обвислыми, визгливыми панцирными сетками, парни, утомленные дорогой, почти мгновенно принялись похрапывать, демонстрируя отменную крепость нервов, а ко мне сон никак не шел.

Долговязая фигура Даньки Ольхова маячила перед глазами немым смутным укором. Увлеченный вольным сочинительством, я, признаться, не упомянул несколько важных деталей в давней истории...

Тётя Лёка, если и обронила невпопад про предложение руки и сердца Белугина из зубопротезного кабинета, то это вовсе не означало, что поспешила выскочить за него замуж. Совсем нет! Кольца на пальцах, разумеется, имели для нее какое-то притягательное значение, как для всякой женщины, но не столь решающее, чтобы повелевать судьбой. Тем паче, к тому времени она надумала сменить профессию. Отнюдь не считая чем-то зазорным быть маникюршей, она выучилась на чертежницу и стала работать на картпредприятии...

Конечно, сочинительство не та сфера, где полагается покорно плестись на поводу у факта, куда важнее – игра воображения, когда ради красного словца никого, считай, не пожалеешь. Недосказанность – благодатная почва словесности, что будоражит фантазии, увлекает сопереживать, домысливать. Вопрос в другом, какая недомолвка оборачивается облегченностью, лакировкой действительности, ходульным её искажением, а какая позволяет малой капле отразить честно мир?..

К сожалению, всё осложнялось неловким, хотя и привычным для той при-скорбной поры, обстоятельством, принуждавшим к умолчанию, когда ход дальнейших событий в упомянутой истории делал их запретной темой, не подлежащей широкой огласке...

После злополучного разговора с выяснением отношений Корнаухова и Леонадии как-то внезапно наступила несносная жара. В полуденное пекло наш про-

сторный двор раскалялся добела, что дышать становилось невыносимо, и мы с Данькой укрывались в прохладе нашего подъезда. На бетоне лестничной площадке раскладывали свои альбомы с марками, рассматривали их, обменивались.

Неожиданно за одной из дверей этажом ниже послышался странный грохот, который почему-то сразу насторожил, а ещё более насторожила, показалась весьма подозрительной, воцарившаяся гнетущая тишина.

Всполошившись, как почувствовав что-то неладное, мы стремглав кинулись вниз, перепрыгивая через несколько ступенек. Дверь, за которой раздался подозрительный грохот, оказалась незапертой, лишь на цепочке, и, заглянув в приоткрытую щелку, мы остолбенели от ужаса – босые ноги Корнаухова болтались в воздухе, а тело, будто воспарив ввысь, дергалось в конвульсиях.

На удачу, худая длинная рука Даньки сумела высвободить цепочку. Мы забежали в коридор и увидели, что сосед наш висел на веревке, привязанной к водопроводной трубе под потолком. Петля на шее передавила хрипы в горле, лицо посинело. Мы зачем-то схватили валявшийся на полу велосипед, принялись подставлять потертое кожаное седло под болтавшиеся в воздухе ноги, однако в суматохе колеса скользили по половицам, руль выворачивался, и подставленные было для опоры холодные ступни с растопыренными пальцами вновь соскальзывали.

Я вспомнил про опрокинутую табуретку и, подняв, торопливо вскарабкался на неё. Табуретка стала опорой для колеса, а сам драндулет – опорой для болтавшегося в воздухе тела. Всё это происходило в считанные доли секунды, а показалось вечностью.

Дрожа от страха и неимоверного напряжения сил, мы приподняли горемыку, ослабив натянутую веревку, хотя выяснилось, что освободить голову из петли таким образом невозможно. До дурноты захлестывала мысль, что всякая доля секунды промедления могла оказаться для человека ценой его вздорной жизни. Трудно сказать, каким образом мне удалось удержать грузное взрослое тело, подпертое велосипедом, но Данька успел метнуться на кухню, принес нож. Я вытягивался на шаткой табуретке на цыпочках, однако не мог достать лезвием до веревки. Данька нашел приставленную в углу коридора стремянку, проворно взобрался наверх и, балансируя с трудом на поломанной ступеньке, изловчился дотянуться лезвием до веревки. Правда, нож, как на грех, оказался тупым, незаточенным, Ольхов пилил им, весь обливался потом, но сумел-таки перерезать веревку, и все вместе мы с грохотом рухнули на пол.

Едва опомнившись, мы таскали ковшиком воду, лили на голову возлежавшего в неподвижности Корнаухова, затем хлестали его по небритым щекам детскими ладошками, стараясь привести в чувство, но он не подавал признаков жизни. «Всё... Скончался!..» – обреченно промелькнуло в голове, но именно в этот момент он приоткрыл неожиданно глаза. Посмотрел каким-то мутным, отстраненным взором. По-видимому, он не узнавал нас и никак не мог понять, где находится.

В большой коммунальной квартире никого в этот злополучный час не было, чтобы прийти на помощь, и мы вдвоём с Данькой принялись тащить волоком по коридору грузного человека в его запущенную холостяцкую комнатенку. Хотели уложить на койку, но он покачал отрицательно головой, принялся что-то мычать невразумительно, пока не надоумил выразительным жестом. Смекалистый Ольхов извлек из его кармана помятые рубли, помчался в магазин и вскоре вернулся с

четушкой. Данька налил ему немного в граненый стакан, и Корнаухов, обливаясь и с трудом глотая, выпил, не прерываясь. Приободрившись несколько, он обтер рукой губы, сипло произнес: «Вы только никому не говорите...»

К слову заметить, просьба эта вполне могла бы стать веским оправданием для недосказанности, из-за которой я терзался. Если сам попросил – молчок, значит, и быть тому!.. Но с другой стороны, было б в высшей степени кощунством, непозволительной роскошью и эгоизмом умолчать о том, что мне самому в той горестной истории приоткрылось...

Я зашел проведать Корнаухова спустя дня три и застал его в каком-то странном возбужденном состоянии. При этом четушка водки на столе как стояла едва начатой, так и осталась стоять. Похоже, он к ней даже не прикасался. Как и к жестяной коробке с леденцами. Зато вокруг ворохами были набросаны боевые самокрутки из газет, от едкого сизого чада першило в горле – не продохнуть.

Сосед-фронтвик сидел у окна за мольбертом, что-то увлеченно подрисовывал тонкой кисточкой. Веки были красные, он, похоже, так и не ложился спать, а глаза горели каким-то непонятным огнем. Я заглянул ему через плечо и остолбенел. Это была та же самая картина и словно совершенно иная. То же цветущее дерево, те же его обитатели, дополненные лишь двумя майскими жуками в радужных переливах крылышек и с хитроватыми мордашками – моей и Данькиной, так, должно быть, признательная кисть творца позволила себе вольность увековечить своих спасителей. Щербатый мужичишка в облезлом треухе карабкался разухабистым бражником вверх по веревочной лестнице, которая, как оказалось, сорвалась вниз, а белокрылый ангел парил в небе, дымил, рискуя здоровьем, огромной, как заводская труба, папиросиной, не потому, что был привержен земной пагубной привычке, но затем, чтобы чуточку потешить, развеселить, когда на душе муть, точно черные кошки скребут.

Преобразилась и диковинная птица с обнаженными женскими грудями и лицом Леокадии. Она восседала с золоченой лирой как муза, и от неё во все стороны будто исходили непонятные лучи. Если прежде в глаза лезли нарочитые грубоватые мазки, то теперь их будто не было вовсе. Вернее, каждый мазок, ложась рядом с другим, вспыхивал неожиданными оттенками...

Я смотрел на установленную в подрамнике картину, где краски были ещё свежими, не успели просохнуть, и вдруг ни с того ни с сего расплакался:

– Как же это? Вы такой... Необыкновенный... А к вам... Это же несправедливо... Жестоко...

Корнаухов горделиво вскинул голову, поглядывал с достоинством, чуть подбоченясь, как знающий цену удачи и подлинному таланту, выстрадавшему для расцвета в нелегкой судьбе, когда бахвальства и заносчивости пустых самомнений нет в помине. Небрежным движением он взял со стола четушку, налил в граненый стаканчик, выпил, лихо крякнув. Вновь налил и выпил, не закусывая, поскольку, похоже, черствой корки не заваялось в его запущенной халупе.

Затем художник присел на краешек железной койки в дерюжном одеяле и поведал мне, зареванному мальчугану, то ли желая приободрить, то ли ощущая потребность в хмельном откровении, весьма престранные обстоятельства...

Когда он перестал дышать, повиснув на веревке, что передавила горло, перестал ощущать своё грузное тело, дергавшееся в конвульсиях, то увидел длинный темный туннель, в конце которого мерцал свет. Вышел в широкий дол, где всё

было в зелени и белом цвету. Всё дышало какой-то умиротворенностью, что ему, настрадавшемуся в своей жизни вдосталь, так вдруг спокойно стало. Все краски вокруг были чисты и ослепительны в той первозданной незамутненности, какой сроду не видывал. Вернее, искал, повинувшись смутному призыву, и не находил. И так вдруг захотелось остаться.

Он стал оглядываться по сторонам, кого бы спросить? Увидел старца в широкой белой бороде и в белых одеждах, принялся его расспрашивать, а тот покачал укоризненно головой: «Тебе не время». «Как это не время?» – возразил он. «Нет! – сказал тот строго. – Ты не исполнил своего предназначения, в котором заложена божья искра, а потому должен вернуться». «Как же вернусь, если я уже умер?» – удивился он. «Не переживай... – сказал седобородый старец. – Мы обо всем позаботимся...»

И тогда он открыл глаза и увидел двух мальчишек, хлеставших его, задыхаясь от отчаяния, по щекам...

– А когда вы ушли, – признался Корнаухов, – я взглянул на свою картину и вдруг всё понял... Понял, чего в ней недоставало... Просто всю её необходимо было переписать заново... Понимаешь, каждая краска, соединяясь с другой, преобразует её и сама преобразуется, рождает новое состояние... Так, наверное, и в словесности, что исповедовали старые мастера, когда одно слово рядом с другим высекает новую грань... Таинство рождения этого неведомого знания вершит душа. Она словно строит храм по замыслу своей нетленной сути, и, возведя, сама в нём поселится... Я сел за холст, писал, не прерываясь, три дня... Когда же глянул, понял, что мне теперь и умереть не страшно... Недаром про хорошую работу говорят – вложить душу... Понимаешь – тело истлеет, в труху превратится, в прах, а душа останется. В этой и других картинах, если улыбнется удача – вложить душу, останется жить, обретет пристанище...

Поведав это, он повалился набок, уснул мгновенно, словно выжатый до последней капли сил непомерными трудами.

Я полюбовался ещё картиной, пахнувшей свежей краской, затем прикрыл её, как полагаются, тряпкой, и вышел, осторожно ступая, чтобы не потревожить сон Великого художника...

Больше я его не видел. Он куда-то исчез. Оборвалась веревочная лестница, что вела в небо. И разговоры на эту тему в нашем дворе окутывал мрак загадочности, даже обмолвки и упоминания пресекались разом, переходили на таинственный шепот, как о чем-то недозволенном, запретном. Поговаривали, что его вызывали, куда следует, за попытку организации какой-то выставки как формы публичного протеста. Там неблагонадежной персоне откровенно сказали, что ежели он намерен порочить державу, пресмыкаясь угодливо перед тлетворным влиянием, то может отправляться на все четыре стороны. Никто ему чинить препятствий не станет. Лишь содействие окажут. «Да никакого у меня намерения нет порочить державу, если я на её защиту грудью вставал, жизни своей не щадил. Просто у искусства свои законы. Человек – не винтик и не пешка, чтобы стричь под одну гребенку... Не чистая доска, дабы всякая загогулина в сознании становилась директивой, неукоснительным предначертанием генеральной линии...»

«Видишь, как глубоко засело тлетворное влияние, – негодовали поборники государственной строгости, – только за бугром для тебя возможна желанная свобода... Полная воля для творчества...»

По дороге домой он купил зачем-то школьный глобус, вероятно, чтобы лучше ориентироваться в выборе места для дальнейшего жительства, и отпущенных нескольких часов оказалось вполне достаточно на сборы. Скатал картину в рулончик – готов. У бдительных стражей таможни вид человека, столь не обремененного поклажей, вызвал серьёзные подозрения. Так и эдак вертели глобус, даже проткнули в разных местах – не контрабандой ли наполнен? Нет, пустой. В конце концов конфисковали глобус, не в силах превозмочь раздиравших на части подозрений. Картину же оставили автору, хотя могли бы сказать – достояние республики, мол, вывозить не смей как собственность. Нет, сказали, можешь галиматью тамошним ценителям прекрасного предъявлять в качестве визитной карточки!..

Так он стал отщепенцем, отрезанным ломтем!

Неужто это неизбежный удел всякого творца, пытающегося приоткрыть новые пути? Ладно бы – нищета, унижения, одиночество, без чего, как повелось, не обойтись непризнанному гению, но чтобы ещё и Отчизны лишиться, на защиту которой грудь вставал?..

Поневоле лишний раз призадумался над пророчеством Звездочёта. Стоит ли так играть с судьбой? Неспроста же прорицатель, известный своей основательностью, подкреплённой колонками цифр, синусоидами графиков, накликать мне долгие пустые хлопоты...

Сказать, что я весьма расстроился от столь безрадостных предсказаний, значит – ничего не сказать, потом как-то приободрился. Если не счесть зряшных усилий, что выпадают на долю, если не избежать тщеты и напраслин, оправданных строем, гонениями дерзкой юной словесности, то и переживать нечего. Твори, выдумывай, пробуй, – как, верно, не привелось бы с оглядками на запреты, на пристрастия системы, подстрекавшей неодолимыми, хотя и понятными, соблазнами напечататься, пусть в угоду «соцзаказа» на злобу дня. Не приходилось бы, разумеется, помышлять о каких-либо исканиях, о нехоженных тропах и неведомых гранях...

Это в нашей земельной экспедиции я всё приставал к Звездочёту с расспросами, а он вроде охотно отвечал, но чего-то явно недоговаривал, уклонялся от прямого ответа. Всё ухмылялся ехидно, поблескивал плутовато зрачками. «Неужели такая беспросветность?» – допытывался я. «Ну, почему же, – отвечал он с невозмутимостью. – В конце жизни ожидают слава, успех». «Это что же получается, – озадаченно заметил я, – как только нагрянет слава, так сразу – конец, прощай, радость, жизнь моя?..»

Мне слава не к спеху. Нелюбитель я громкой музыки фанфар. Не это поднимает ввысь!

Найти бы слово, заветное, без пустозвонств и прикрас, самое сокровенное, в котором душе довелось бы обрести пристанище...

Рассказ восьмой ЗЕЛЕНЬ ВОД И ТИХИЕ КРУГИ

В пересудах деревьев – дремучая заушь, косноязычие природы вещей и невнятность веков, а речь понятна. В золотых и багряных всполохах шелестит листва, шепелявит, кружа, судачит – всё о странностях бытия ведётся неспешная беседа. О превратностях и коловращениях, из которых прядется нить и соткана ткань. О юной зелени, что рвется неудержимо из клейких почек, томимая буйством на-

дежд и буйством желаний. О зное румяного лета в плодах и спелых красках. О горнилах осенних страстей, про накал которых можно судить лишь отчасти по яркой окалине, что громоздит вороха и кучи вздохов о том, сколь скоротечен и сладок миг между прошлым и будущим, что сгорает, как порох, дотла, обращает бывшее в дым, отпылав, отбуйствовав – в который уж раз! – но так и не успев насытиться, источая любовь и жажду жить, что-то важное пусть напоследок совершить, хотя бы феерией жухлых красок, гениальной выдумкой пряных и терпких запахов увядания...

Если сбежать с лекций, ловко улизнуть от гама и сутолоки городских улиц, взяться за руки и бродить неспешно просветленными аллеями, едва приметными тропинками блуждать или просто наугад – по бездорожью, устланному пестрыми коврами опавшей листвы, как кануть, сгнуться в тиши векового покоя, то многое доведется подслушать. И для откровений будто приоткроется тайная дверца, о самом сокровенном, заветном порывается сказать душа:

– Я люблю Заиньку! Чертовски люблю! – наклонясь к уху, с жаром шептал рослый Вахрушев.

– Чертовски – это как? – недоумевала, прикинувшись недогадливой, девушка.

– Это очень и очень чертовски!..

Они вышли к пруду с зеленоватой водой, неподвижная, не тронутая рябью поверхность которой была похожа на поблескивающее стекло.

На берегу возвышалось сколоченное из горбылей и досок сооружение, возведенное, должно быть, методом народной стройки, в пылу коллективных рвений азартных охотников до прыжков с вышки, любителей острых ощущений.

Ивану неожиданно загорелось взобраться по шаткой лесенке, и на верхней площадке, ходившей ходуном, где к тому же недоставало одной доски, а другая едва держалась на ржавом гвозде, у обоих захватило дух от высоты и открывшейся перед взором панорамы осенней рощи, и он вдруг завопил в полный голос:

– Я люблю Заиньку! Моего Солнечного Зайчика!.. Очень, очень!..

И роща, пламеневшая роскошью красок, вдруг откликнулась, банально вторила среди запустения протяжным, долгим эхом:

– Очень, очень!..

Ободренный откликом, как поддержкой для отваги, Вахрушев порывисто обнял девушку, крупный, плечистый, будто сграбастал её в охапку, жадно целовал. Он целовал опешившие, не успев выразить своего изумления от проявленной отваги, губы, которые лишь отвечали робким изумлением.

Площадка с протяжным скрипом колыхнулась, ещё больше заходила ходуном, и девушка, вздрогнув, ойкнула, на миг показалось, что они в обнимку падают в бездну, рука её разжалась, выпустила отполированный ладонью желудь, подобранный где-то по дороге с круглой смешной шапочкой на макушке. Желудь долго, долго падал, прочерчивал отвесным перпендикуляром путь в пропасть, будто желая предостеречь от опрометчивости неловкого шага, преподать ненавязчивый урок осмотрительности. Он звонко шлепнулся о зеленую воду с колыхавшимися таинственно в темной глубине водорослями, точно зазвенело разбитое стекло, и от удара по поверхности пошли во все стороны медленные круги.

– Ой, упадем! – воскликнула Светлана, впиваясь от испуга цепкими пальцами в рослого парня, и призналась: – Я ведь даже плавать не умею.

– Да я за тобой в любую бездну брошусь, – сказал с жаром Вахрушев. – В любую пропасть кинусь без тени сомнения и страха!..

Слова эти, дышавшие искренним пылом, не выглядели пустой бравадой и трёпом, ибо Иван, ко всем своим прочим достоинствам – превосходный пловец, мастер спорта по водному поло. Необъяснимо спокойно вдруг делалось. Вышка гулко качалась, голова кружилась, но ничего не было страшно. Он обнимал её крепче, целовал с нежностью, а потом орал на всю рощу:

– Я люблю-ю... Люблю Солнечного Зайчика!..

Круги всё плыли по зелёной сонной воде, расходились задумчивыми витками. Шаткие ступени лесенки пронзительно взвизгивали при каждом шаге, когда двое, вняв призывам благоразумия, стали спускаться вниз. Вышка пронзительно скрипела, раскачивалась, и земля под ногами почему-то потом плыла, покачивалась, точно палуба корабля.

Они ещё долго бродили пустынными аллеями, шелестели ворохами пламенеющих листьев, выбиваясь из сил от усталости и свалившегося счастья, которое вроде осознавалось и в которое так трудно было поверить до конца. Всё кружили едва приметными тропинками, блуждали по бездорожью, пока осеннее солнце не закатилось за дальний край рощи. В сплетениях ветвей пунцовый солнечный круг запутался, словно в силках, и его поглотила огромная, надвинувшаяся как-то внезапно лиловая туча.

– Это к ненастью, – заметила Света. – Народная примета есть такая, если на закате солнце заходит в тучу. Непременно к дождю и перемене погоды.

– А я не верю никаким приметам, – смеялся с беспечностью Вахрушев. – Ерунда все эти мнительности, суеверия, предрассудки! В себя нужно верить. На характер свой уповать... И стучать молоточком – тюк-тюк! – выковывая характер с упорством и неумолимостью... Помнишь, как в стихах:

Не позволяй душе лениться!
Чтоб в ступе воду не толочь,
Душа обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!

Голос звучал напористо, с верой. Чуть хвастливый, он звенел на высоких нотах, становясь уязвимым для иронических стрел, а потому подкупал своей беззащитностью, и Света Зайкина смеялась беспечно, любуясь декламатором. Не много найдется из её сверстников, кто увлекался бы поэзией да ещё мог так выразительно прочитать.

Они долго тряслись в полупустом автобусе, кружившем притихшими улочками города, и потом ещё долго целовались в подъезде... А дома мать Светланы нервно курила в форточку, держа сигарету в кончиках пальцев.

– Какой негодяй оказался этот Вахрушев! – с шумом выдыхала она упругую струю дыма, клубившегося в сизых, зловещих оттенках.

У дочери разом оборвалось сердце – что произошло? Кого из Вахрушевых она имеет в виду? Скинув туфли, кинулась к матери, порывисто обняла за плечи:

– Ты чем-то расстроена? Что случилось?

– Представляешь, на Ученом совете зарезал мою работу.

Ах, вон что! У Светы отлегло от сердца... Мама и отец Ивана работают в одном институте, сослуживцы, и это обстоятельство, между прочим, как раз способствовало тому, что судьбе было угодно подарить нечаянную встречу.

Света Зайкина изучает языки на романо-германском отделении филфака, иногда делает матери переводы из научных зарубежных журналов. Как-то зашла по записанному адресу, чтобы взять нужный журнал, а дверь открыл рослый парень, который почему-то смутился, увидев её, густо покраснел, хотя конфуз обернулся неожиданной резкостью: отца, мол, нет дома, в поликлинику ушел. Сказал, как отрезал, и захлопнул дверь, потом сам заявился с необходимым журналом и извинениями. Отца, мол, начальник допёк, каждые полчаса направляет посыльных то одно, то другое, житья просто нет, не дадут поболеть человеку, вот он и налетел, не разобравшись. И улыбался застенчиво, поражая несоответствием какой-то детской непосредственности и косою сажени в плечах...

– Милая, волевая моя мамочка, какая это всё ерунда! – щебетала Светлана, обнимая курившую в форточку расстроенную женщину.

– Как бы не так! – отвечала та хриплым, сдавленным голосом. – Это моя жизнь, профессиональная честь и гордость... Но он-то, каков прохвост! Как расшаркивался, в каких только любезностях ни рассыпался... Ведь я сама, по собственной инициативе и наивности, попросила его выступить оппонентом. Чем чужое предвзятое мнение, куда лучше, когда свой человек... Мы всегда были в приятельских отношениях, а тут, смотрю, и у тебя с его Иваном налаживается что-то большее, чем дружеское расположение. И мне он нравился – вежливый, воспитанный мальчик... А тут взять и всё одним махом так бездумно разрушить, развенчать!..

– Успокойся, родная! Ты просто сейчас завелась, и потому всё представляется в мрачном свете. Всё образуется, ты не переживай.

– И думать о нём забудь! Ведь если папаша способен на такую подлость, способен предательски свинью подложить, то, значит, и сынок того ж поля ягодка. Не далеко ушел!

– Зачем ты так? Так несправедливо!.. Ты верно заметила, я весьма благосклонно к нему отношусь. Я люблю его!..

– Этого ещё не хватало!.. Ты доверчива, горазда идеализировать людей, а они-то вон какие негодяи... Выражаю, говорит, принципиальное несогласие, поскольку технологический цикл чреват выбросами... А ведь как, лицемер, раскланивался... Впрочем, яблоко от яблони, говорят, недалеко катится... Чтоб я и близко тебя с ним не видела!..

– Ну что ты говоришь такое!.. Ты просто огорчена, а потому и судишь запальчиво. Досада в этих деликатных вопросах – плохой советчик... Всё образуется!..

Ночью налетел сильный ветер, громыхал железом крыши, будто разнузданный шалопай бегал по покатым листам, бесчинствовал. В свирепых ураганных порывах ветви деревьев изгибались со стонами, и листья срывались, летели в протяжном гуле завихрений. Внезапно крупные капли дождя застучали по оконному стеклу, серебристые струи заскользили верткими, поблескивающими, словно слюда, змейками, и какая-то неотвязная тревога вдруг подступала, не по себе делалось.

Светлана долго не могла уснуть, всякая бестолочь и ужасы лезли в голову. Внезапно густой снег повалил лохматыми рыхлыми хлопьями. В отсвете неоновой рекламы с противоположной стороны улицы отвесный снегопад напоминал таинственное шествие в театре теней, когда под мерцания и блики темная нечисть отступает куда-то, грозная неотвратимая поступь злого рока сменяется мерным

шелестом, опускающимся тихо с небес, принося, если не безмятежную умильность, то успокоение – всё перемелется!..

Наутро, глянув в окно, обнаружилось: кругом было белым-бело. Снег усыпал землю, налип, искристый, пушистый, где только возможно, точно в щедротях своих не ведал удержу, доведя всё до крайностей и до умопомрачения. На проводах налипал, сделав их толще морских канатов, на крышах домов громоздился высокими папахами и шапками, на уцелевших от урагана листьях навис, так что ветви изогнулись под тяжестью, готовые с треском и грохотом обломиться, рухнуть, не выдержав груза небесных даров. Но в том, должно быть, и состоял замысел главного зодчего, мучившегося во время бессонницы над проектом, чтобы на пределе возможного, на грани излома, сотворить дерзновенный шедевр, поражающий буйством фантазий, ажурностью теремов, не преследуя иного умысла, никакой иной цели, чтобы лишь перехватило от восторга дыхание, а губы, ликуя, пролепетали – лепота!..

Встретившись в назначенный накануне час, Иван и Светлана дурачились, отряхивали наклонившиеся низко над тротуаром ветви деревьев, вызывая шумные обвалы лавин, лепили покрасневшими руками снежки, швыряли друг в друга, а то просто стояли как зачарованные, не в силах выразить своего восхищения творениями снежного зодчества.

Проголодавшись, подкреплялись в жарко натопленной блинной, прихлебывали из чашек горячий кофе, обжигаясь не без наслаждения после свежего воздуха и морозца. С аппетитом уплетали румяные оладьи в сметане, и голубоватый дымок раскаленной сковородки, что проникал из кухни в маленький зал, перемешиваясь с запахом блинного теста, казалось, врежется в память до окончания дней.

В темном зале кинотеатра, тесно прижавшись, забывая следить за перипетиями чужой любви и драмы, целовались. Светлане всё хотелось признаться, шепнуть с усмешкой, мол, знает ли он про распрю, что возникла между их родителями? Буквально из ничего, на ровном месте, но с таким ожесточением и непримиримостью, что готовы стенка на стенку идти, как некогда семейства Монтеки и Капулетти. Отец-то у неё миролюбивый, с покладистым характером, зато у мамы просто талант воительницы. Не приведи, если кто в автобусной давке заденет неловко или по бесцеремонности нашей суматошной жизни обмолвится в её адрес нелицеприятным словом, про хамство или какую-нибудь непорядочность говорить не приходится – спуску не даст! За долг сочтет, не мешкая, ринуться в атаку с открытым забралом... Впрочем, смешного тут мало, и благоразумней воздержаться от шуток с этой подоплекой.

Светлана промолчала, а дома на грозное вопрошание матери – где была и с кем? – отвечала без затей:

– Это ж несерьёзно!.. Будто затмение какое-то... Мало ль разве иных забот и проблем?..

Забот и проблем, конечно, хватало. Лекции, практические занятия в лингафонном кабинете, засиживания допоздна в библиотеке, да ещё тренировки пять раз в неделю, а тут неожиданно новое возникло осложнение, заслонив прежние, оттеснив их на задний план.

Преподавательница, куратор группы, предложила Светлане выступить с докладом на научной студенческой конференции, а она наотрез отказалась, всерьёз полагая свой реферат сыроватым для публичного выступления. С какой стати

выставляться самонадеянно, если тема зияет избытком мест для сомнений, грешит лишь постановкой вопросов без должных, приносящих чувство удовлетворенности ответов? Ради дежурной галочки? «Зачем же так? – настаивала на своём преподавательница. – Постановка вопросов тоже крайне важна в процессе научного поиска». Конечно, ей для отчета необходимо было сделать отметку о результативной творческой работе со студентами, а Светлана упорствовала – ни в какую не соглашалась отдавать реферат на конференцию. Долгие уговоры и любезности сменились раздражением, затем и вовсе – открытым недовольством. «Ну, как знаете! – последовала откровенная угроза. – Пеняйте потом на себя!..»

Ход дальнейших событий был весьма тривиальным: придирки начались, любая заминка встречалась в штыки, поддевалась с сарказмом, а то и вовсе без повода и обиняков. Нервотрёпка и натянутые отношения потребовали дополнительных усердий в зубрежках, напряжения сил, упорства, и нависшие тучи, вероятно, весьма омрачили бы жизнь, если бы не иным жила душа...

Пусть свидания редки, но они скрашивали затянувшуюся несносной тяготиной полосу невзгод. Даже родительский запрет с замашками средневекового табу выглядел несолидной прихотью, придавая негласным встречам оттенок таинственности и сладкой прелести. Как бы там ни было, эти нечаянности впопыхах, вопреки всем козням, продолжались, а потому ничего не страшно: хоть головой в омут, хоть в бездну или пропасть, лишь бы в обнимку – вдвоём...

Иван, правда, морщил нос, сдвигал брови у переносицы, где в легкой складке будто пряталась набежавшая тень отчуждения, если речь ненароком заходила о домочадцах. Про то, как честное отстаивание принципиальных позиций обернулось внезапной неприязнью рассыпавшихся некогда в любезностях сослуживцев, отсутствие веских аргументов в научном споре подменялось банальным наклеиванием ярлыков, соперничающих лишь в хлесткости выражений. Разрасталась склока, свирепая и бессмысленная, не брезгующая в выборе средств. Никто не желал уступать, считая попятную проявлением слабости, и масштабы противостояния, становившегося беспощадней и непримиримей, разрастались, вовлекая в интриги и водовороты новые безвинные жертвы.

– Знаешь, сколько матушка твоя гадостей сделала моему отцу? – сокрушался Иван. – Не счесть и вовек, наверное, не расхлебать...

– Полно! – отмахивалась Светлана. – Не принимай близко к сердцу. В науке так сплошь и рядом происходит, обычное, вполне заурядное дело. Это у них в порядке вещей, поскольку у каждого своя, как говорится, кочка зрения. В борьбе идей с неизбежными перехлестами и полемическими перегибами, так, вероятно, происходит процесс рождения истины. Вопрос в другом: заслуживает ли она такой цены и платы?.. Ты отца выгораживаешь, а маму мою рисуешь в самых мрачных красках, не допуская и мысли о предвзятости, что, согласишься, тоже отнюдь не делает чести.

– Отец – честный человек и от принципов своих никогда не отступится.

– Ну и хорошо! Просто замечательно, когда они есть – принципы. Только зачем опускаться до выяснения отношений, инсинуации измышлять, всякого рода напраслины и поклёпы, а тем более нас впутывать, вовлекать в эти дразги? Глупо же...

Тема эта, конечно, была неприятна. Пожелать-то легче лёгкого: не ввязываться в драку, а как удержаться, если родные, самые близкие люди колошматят друг

друга, поддают тумачков и затрещин цветистых метафор, благо, изошрен в изобретательности интеллект. Известное дело, паны дерутся... Только и остается посочувствовать чубам холопов, что при этом трещат. Что ещё остается? Одна надежда уповать – время лечит, терпеливыми жерновами перемелет все выпавшие на долю беды...

Благоразумие старались проявлять и по возможности не касаться злосчастной темы. Просто молчали, если она ненароком возникала, и, соединив ладони, брели наугад. По улицам без устали кружили, а будто продирались сквозь тернии злых обид, препирательств, и тогда всё казалось нипочём – пусть целый мир в раздоре!..

В конце концов сессия, приближение которой ожидалось с таким тягостным чувством, преследуя мучительными кошмарами в коротких снах между терпеливыми зубрежками, надвинулась, накатила, горячо и натужно дыша, и проехала, на удивление, легко... Злополучный экзамен, мысль о котором приводила Свету Зайкину в трепет и паническую дрожь, истребовав столько дополнительных сил и упорства при подготовке, был сдан шутя, будто играючи. Просто она сразу успокоилась, когда вытащила экзаменационный билет, и потом отвечала бойко, без единой запинки, так что при всем желании придраться было не к чему. Правда, справедливой пятёрке так и не суждено было появиться в зачетке, оценка без каких-либо объяснений была понижена на балл, но это уже не принималось чувствами в расчет, никак не могло стать причиной расстройства и огорчений...

На радостях Светлана кинулась к будке телефонного автомата, а мужской голос в трубке отвечивал довольно суховаато, мол, тот, к кому она проявляет пылкий интерес, отсутствует. Весьма продолжительно, знаете ли, будет отсутствовать, поскольку включен в команду мастеров водного поло, сначала сборы, потом зарубежное турне, после которого первенство страны с разездами.

– Странно, – искренне удивилась девушка, – он мне ничего об этом не говорил... Ничего не просил передать?

– А вы, если не ошибаюсь, Зайка? Так вас, кажется, называть?

– Извините, что я не представилась в спешке.

– Полно, не стоит извинений... Вообще-то, Зайка – это слово мужского рода. Уж как оно к вам применимо, не знаю... Ну, да ладно... Не о том ведь речь... Просто тот, о ком вы спрашиваете, очень долго будет отсутствовать... А для вас, можно сказать, навсегда. Посему убедительная просьба больше не звонить, понапрасну не беспокоить... Есть такая, весьма распространенная формула счастья: болел зуб, потом перестал причинять боль, поскольку выдернули оный без сожалений – вот и счастье!..

Гудки в телефонной трубке отзывались пронзительным писком, а вежливый, подчеркнута ровный голос – подчеркивавший степень отстраненности? – всё ещё звенел в ушах и будто окатывал холодным душем. Неужели и Иван разделяет эту теорию счастья? Быть этого не может!..

После мимолетного светлого проблеска, дарованного экзаменационной сессией, наступила затяжная полоса невезений. На каждых соревнованиях то дождь, то ветер в лицо. Никому не дует, а стоит Светлане выйти в сектор для прыжков, то непременно откуда-нибудь да вывернет ураганный порыв. Столько трудов потрачено на тренировках, столько усердий пришлось проявить, а всё напрасно – просто беда! Тут ещё досадное растяжение мышцы бедра случилось, и всякие

помыслы об успешном продолжении сезона необходимо было оставить, отложить безоговорочно до лучших времен...

Мама купила «горящую» туристическую путевку – вниз по Енисею на теплоходе, и Светлана под бурным натиском родительских увещеваний не устояла.

Путешествие это, наверное, произвело бы самое неизгладимое впечатление, доведись совершить его вместе с Иваном. Мысленно она так себе это и представляла. Как бы они восхищались красотами суровой сибирской природы, стоя вдвоем на палубе теплохода, как поглядывали бы на проплывающие мимо берега и, не сказав ни слова, понимали друг друга, и рука Ивана ласково обнимала бы её за плечо. Правда, поскольку пребывать на палубе суждено было одной, то со-слагательное наклонение в этих мыслях словно усиливало озноб от холодного колючего ветра, продувавшего свирепо до костей. А Диксон и того пуще, встретил гостей промозглой стужей, снежной крупой, так что шерстяную кофту пришлось достать из чемодана. Все теплые вещи вынуждена была надеть на себя, но и это не помогало – озноб пробирал. Даже таблетки пришлось принять на всякий случай – профилактики ради! – от простуды.

Одна бесхитростная мысль согревала: как только теплоход повернет в обратный путь, то с каждым мгновением всё ближе и ближе будет долгожданная встреча с Иваном...

Правда, скорому свиданию не суждено было случиться. Иван приезжал на несколько дней после тренировочных сборов, затем отправился вместе с командой в зарубежное турне. А Зайке, коль уж не выпало в силу стечения сложившихся обстоятельств быть включенной в сборную команду республики, хотя задача вполне была по плечу, пришлось собираться в стройотряд...

В глухом таежном поселке они возводили коровник, а заодно – детский городок на центральной усадьбе, решив оставить после себя добрую память, сочинить дивную сказку из бутового камня и толстенных бревен. Природного строительного материала вокруг было предостаточно – только дерзай! Средневековый замок возвели с крепостной стеной и грозными башнями въездных ворот, избушку на курьих ножках, карусели и веселые горки. Словом, резвись, детвора, не шмыгай сопливым носом, сетуя на заброшенность в судьбе, да вспоминай великодушных каменщиков и плотников, что ради такого дела, пожертвовав каникулами, трудились в поте лица, кормили тучи ненасытных, прожорливых комаров.

А вечерами разводили костер, негромко пели под бренчание разбитой нестройной гитары:

Дым костра создает уют,
Искры вспыхнут и гаснут сами.
Пять ребят о любви поют
Чуть охрипшими голосами.

Наконец пришла желанная пора, притащилась, обогнув неспешной валяжной походкой земной шар, золотая осень. Вновь давай листвою шелестеть, всполохами ярких красок бередить, всё о странностях бытия судачить. Что сбилось, что состоялось из того, о чём сладко мнилось? Или всё, как было и есть – суета сует, равнодушие медленной Леты, что поглотит, даже бессердечием стать не дерзнув?..

Светлана, как только приехала, первым делом позвонила Ивану, и, на удачу, он взял трубку.

– Как я рада! – щебетала она, задохнувшись от восторга, вполне, впрочем, естественного после столь долгих дней и месяцев вынужденного ожидания. – Как я соскучилась, ты даже представить не можешь... Давай встретимся? Прямо сейчас...

Он начал было отнекиваться, что-то вяло говорить про занятость и кучу неотложных дел, но потом неожиданно согласился.

За лето Ваня Вахрушев ещё больше раздался в плечах, приосанился, приобрел какой-то незнакомый лоск – за граница с её благополучием, устроенностью, по видимому, явно пошла ему на пользу. Он отпустил усики, черненькие, аккуратные, они были весьма ему к лицу, изменив облик до неузнаваемости.

– Какой ты у меня видный стал! – восхищенно разглядывала его Светлана, сияя от радости долгожданной встречи, смотрела и не могла насмотреться. – Поехали в нашу рощу? Там, наверное, сейчас красотища...

– У меня действительно уйма неотложных дел, – замялся он и, чуть помедлив, добавил с решимостью, даже с какой-то неведомой прежде нагловатой категоричностью: – Я потому и встретиться решил, чтобы поставить точку. Всё это не имеет никакого смысла.

– Что ты имеешь в виду? – не поняла она, насторожившись.

– Ну, продолжать всё это... Наши отношения... Нужно проявить благородие.

– Ты заговорил, прямо как твой отец. Та же интонация и отстраненность... Только о здоровом ли разуме идет речь? Или о том, как легко его развенчать в угоду какому-то вздору?

– Зачем ты так?.. Просто совершенно ясно, что ничего хорошего из этого не может быть... Матушку свою ты лучше меня знаешь, её не переделаешь... Между прочим, Ученый совет пересмотрел своё прежнее решение, основанное на заключении, что дал отец... Пусть со многими сносками, оговорками, но факт остается фактом – она победу празднует... А отца моего буквально нервная дрожь колотит от упоминания одного лишь её имени. Пиррова, говорит, победа! Буквально в бешенство приходит... Я его таким никогда не видывал... Зачем, спрашивается, усугублять? Они меня вырастили, я единственный, как говорится, отпрыск, тоже должны быть какие-то сыновние обязательства... Никак этого не отбросишь!..

– Ты это серьезно? – не могла поверить Светлана, и губы её заметно задрожали.

– Понимаю, о чём ты... – Опустив голову, он принялся ковырять носком элегантной заграничной туфли бетонный бордюр. – Думаешь, мне легко? Чурбан, думаешь, этакий бесчувственный?.. Просто ситуация безвыходная. Мы не можем, не имеем никакого морального права идти на поводу у чувства. Со всех обозримых сторон, если оценить ситуацию беспристрастно, куда ни кинь – всюду клин... Да и глупо в наш практичный век!.. Какая может быть выгода, если загонять себя в угол, бедолагой становиться, взывающим к позорной жалости и состраданию? По наивности лет всё рисуется в розовых иллюзорных красках, а в жизни – иначе. Всё суровой и проще в обнаженной своей наготе без прикрас, а значит – прекрасней. В жизни всегда от чего-то приходится отказываться, чем-то жертвовать, принося на алтарь жертвы прежде всего – себя... Это как-то достойней. Чем головушку очертя терять, куда важнее, чтобы она крепче держалась на плечах. Выше нос!.. И не возникай больше. Пока!..

И по тому, как он это сказал, с какой определенностью и категоричностью, было ясно без каких-либо двусмысленностей, дающих повод для толкований и путей отступлений, что решение своё он принял окончательно и бесповоротно. Пусть явно с чьей-то подсказки, но всё обдумал для себя и взвесил. Решение это может кому-то нравиться, кому-то нет, но в нем есть своя неумолимая логика. Своя правда, которая, как рубаха, ближе к телу, а там уж судите-рядите, навешивайте нелепые ярлыки – ваше дело! Это ваше мнение, а нам своего иметь не запретишь!..

Он ушел, горделиво выбрасывая длинные ноги и задрал кверху нос, а Светлана всё стояла, оцепенев. Так уж всё произошло стремительно, что она никак не могла опомниться. Не могла поверить, что случившееся, этот полный, окончательный и бесповоротный, бессмысленный разрыв – правда...

Она долго бродила по улицам города, опустошенная, потерянная, неприкаянная, потом села в автобус, поехала в рощу.

Там в воздухе уже кружила ржавая листва, осыпалась багряной и рыжей окалиной, по которой следовало судить о накале осенних страстей. Кучи вздохов ещё не были сооружены, зато вороха сожалений уже источали терпкий, пряный запах увядания. «Душа обязана трудиться!» – вспомнилось ненароком, как декламировалось тут в прошлую осень. Как верилось, что это правда. Душа обязана трудиться во имя любви и веры, наперекор всему – всем напастям, злым наущениям...

«Милый, – думалось ей, – ты не представляешь, как себя в этой жизни обделил. И меня обделил!..»

Она долго бродила пустынными аллеями, усыпанными жухлыми листьями, не заметила, как вышла к пруду. Деревянное сооружение из горбылей и досок, воздвигнутое некогда самодельными любителями острых ощущений, всё также возвышалось на берегу, и Света, чуть помедлив, зачем-то стала взбираться по шаткой лестнице.

На верхней площадке, как и прежде, недоставало одной доски, а другая была едва прибита, и перильце чуть держалось на ржавом загнутом гвозде. Когда-то – как недавно! – отсюда открывалась захватывающая дух панорама, так что воздух холодел в груди, дыхание замирало, а гулкий стук сердца отдавал в висках. Теперь всё было вроде как и прежде, но веяло разором, будто призрак воровства, выпорхнувший из черных опустевших гнезд, неприкаянный, бесприютный, витал в воздухе, и грех отчаяния захлестывал...

Светлана глянула вниз, и от высоты, от шаткости зыбкой площадки голова закружилась, всё поплыло перед глазами. Она непроизвольно ухватилась за перильце, но оно, пронзительно скрипнув, ослабло, отлепилось, и озноб жутковатого оцепенения вдруг сковал всё тело, оценив безошибочно, что произойдет в следующее мгновение. Эта пропасть, разверзшаяся бездна, влекла к себе, как магнит, притягивала, и не было сил сопротивляться, ибо всё вдруг утратило смысл, стало представляться пустым трёпом, иллюзорным вздором, подталкивая к безрассудству поступка...

Лишь в последний момент каким-то невероятным, судорожным усилием ей удалось отшатнуться, отпрыгнуть, сделать шаг назад, и это было спасением. Что-то сорвалось, с гулом полетело вниз – это перильце отлепилось на ржавом гвозде, прочерчивало перпендикуляром путь падения в бездну, и сознание отметило как

собственный путь. Ошибочный, подсказанный обидой и отчаянием, которое всегда было тягчайшим грехом...

Сорвавшееся перильце долго падало вниз, глухо шлепнулось о поверхность неподвижной воды, взметнув фонтаны брызг, и Светлана, не в силах унять колотившей дрожь, спускалась по шатким ступенькам.

Вышка для прыгунов ходила ходуном, пронзительно скрипела, выла, словно лютуя, а по зеленой воде расходились во все стороны, плыли, плыли тихие круги.

Рассказ девятый

ЗАГАДОЧНАЯ ТЕЛЕГРАММА

Я стоял на покачивавшейся зыбко верхней площадке деревянного сооружения, того самого, где не хватало одной доски, а другая едва держалась на ржавом гвозде, распекал себя за досадную оплошность, случившуюся со мной на соревнованиях, казнил себя унижительными словами, так что впору было кинуться головой вниз. И тогда я увидел то, чего нельзя было приметить на берегу. Или, возможно, это было то, что приоткрывается лишь у края бездны...

За бугром, за высоким плетнем из тальника в узкой лагуне, подернутой изумрудной ряской, находилась какая-то странная лодка, при виде которой в груди что-то невольно вздрогнуло. Из темного старого дерева, покрытого густым налетом лишайника, но с сухим, отнюдь не залитым водой днищем, она будто поджидала кого-то. Ясно, не для праздных прогулок по заброшенному пруду заключалось её назначение, а, может, подумалось – не без влияния распеканий и мрачного хода мыслей! – для последнего пути по земной юдоли? В конце концов, никому неизбежного не миновать. Кинешься ль с головой в омут, подкараулит ли по вероломству внезапная болезнь, или старость неизбежно настигнет беспощадней любого рока – исход один и тот же, и лодке всё равно совершить свой скорбный путь...

Перевозчик в белых одеждах с непроницаемым лицом возьмет в руки длинное натруженное весло, взмахнет без плеска, и неспешная ладья отправится, чтобы исполнить долг. Ворон силло каркнет, ветер упадет обмороком на водную гладь, и вековые деревья, свидетели величественных процессов утрат, отложив перемены, закачают в немой безутешности ветвями, расчищая темные ямы фарватера от гряды белоснежных облаков.

Тут и спохватишься: как много было принято от жизни даров, как мало, разобравшись, до обидного мало сам дарил. И поймешь со всей очевидностью, не мыслью, а содрогнувшись душой, – всё, чем она обладала столь щедро, всё, что было запрятано в дальних уголках, в самых потаенных глубинах, с собой в эту лодку не забрать...

Конечно, подумал я, позорной оплошности, случившейся со мной на соревнованиях, не поправить, самобичеваниями промашки не умалить, но если и есть какой-то прок в покаяниях – не раскисать жалкой лужей, а встретить по возможности достойней завтрашний день...

В приземистом продмаге на городской окраине я купил пышную сайку, бутылку пастеризованного молока, рассудив, что в столовую мне уже не поспеть, да и не очень-то хотелось. Устроившись на огромном теплом валуне на берегу

маленькой речки, катившей в мутных бурунах свои воды, я терпеливо уплетал за обе щеки непритязательный ужин, наблюдал за полыхавшим заревом заката. Хотелось как можно позже заявиться в общежитие, прошмыгнуть незаметно, избежав расспросов и снисходительных сочувствий, но спохватился: на главпочтамте ещё не побывал, как намеревался, просто напрочь вылетело из головы из-за всех расстройств.

В пустынном зале главпочтамта, терзаясь муками поиска нужных слов, я сочинял за перемазанной чернилами конторкой поздравительную телеграмму. Затем выбирал придирчиво красочный бланк, который согласно перечню услуг должны вручить дорогому моему адресату, хотя вручат, разумеется, какой-нибудь совсем иной, из тех, что окажется под рукой.

Потом перешел к окошку с надписью «до востребования», протянул паспорт Даньки Ольхова. Флегматичная девушка долго перебирала пальчиками пачки почтовых конвертов, отрицательно покрутила головой:

– Ничего нет.

– Может, это телеграмма? – высказал я робкое предположение.

Она нервно тряхнула челкой, но, обратившись к тоненькой пачке в другом секторе, неожиданно просияла:

– Действительно, есть. – И добавила словно в оправдание: – Это не мой участок... Просто попросили подменить.

Депеша, отпечатанная блеклыми заглавными буквами, которую мне вручили, подивила своим содержанием, точнее, какой-то выспренностью стиля. Она гласила:

**ВЫШЕ ГОР СТАНОВИТСЯ ЧЕЛОВЕК ЗПТ КОГДА С ОТВАГОЙ И БЕЗРАС-
СУДСТВОМ УСТРЕМЛЯЕТСЯ К ВЫСОКОЙ ЦЕЛИ ТЧК ЖЕЛАЮ УСПЕХОВ
ТЧК ВЕРОНИКА**

Я долго разглядывал вычурное послание, не мог ничего понять, и имя мало о чём говорило. Вернее, когда-то одна общая знакомая с таким именем встречалась нам на жизненном пути, но это было так давно, что не представлялось правдоподобным, чтобы по истечении стольких лет она дала бы о себе знать.

Впрочем, тот, кому адресовано послание, пусть сам и разбирается, ломает голову над загадкой.

Я направился в общежитие, а по дороге меня вдруг будто током обожгло: ну, конечно же, это та самая Вероника, что много лет назад, когда мы с Данькой стали работать в типографии, приходила раз в неделю в наборный цех. Она работала корректором в многотиражке, а в воспаленном мозгу Ольхова, помнится, запечатлелась не иначе как в образе шаровой молнии, и он ещё клятву ей дал по опрометчивости. Сколько ж это лет прошло? Почти пять...

Недаром предчувствие быть втянутым в какую-то дурацкую историю шевельнулось во мне, когда Данька вручал мне свой паспорт. Казалось бы, чего проще – вручил депешу и дело с концом. Но каковы будут последствия? Завтра Ольхову марафон бежать. Не очень-то воодушевит послание, в котором поддержка и сочувствие, коих каждому хочется, подменены велеречивой помпой. Как холодным душем, поди, подобная тирада окатит. Скоротечную стометровку не захочется бежать, не то чтобы мучительный, многострадальный марафон. Может, придержать? После финиша отдать послание – ах, мол, запомятовал... Конечно, это был бы наилучший вариант, хотя, честно говоря, врать не хотелось...

Впрочем, подумалось мне, когда поднимался по лестнице в общежитии, если Данька спросит про главпочтамт, то отдам депешу, не мешкая, а не поинтересуется – значит, не судьба. После финиша вручу с широким жестом.

Пламенный афоризм, более подходящий для высечения на гранитных скрижалях, чем для поддержки в трудной борьбе, мог бы преспокойно и на главпочтамте пролежать, ничего бы ровным счетом не произошло...

На мой стук дверь долго не открывалась, хотя в комнате слышалась какая-то подозрительная возня. Помявшись в некотором замешательстве, я постучал ещё раз, стараясь при этом, чтобы звук выходил не слишком громким, не привлекал, судя по всему, не совсем желательное постороннее внимание.

Наконец щелкнул замок, из-за приоткрытой дверной створки просунулась наспуленная физиономия Даньки Ольхова. Он огляделся настороженно, но, обнаружив, что никого, кроме моей персоны, в коридоре нет, напряжение на лице как рукой сняло, даже просиял:

– А-а, это ты... Проходи!

В комнате висел густой душистый запах курицы, что варилась на крохотной электрической плитке за шифоньером.

Оказывается, за этим предосудительным занятием я и застал приятеля врапслох. Понятно, опасался грозного выговора от коменданта за нарушение правил общежития. Разве объяснишь непреклонному блюстителю порядка, что к незаконной деятельности подталкивало обязательное, чтимое как ритуал, неукоснительное требование для марафонцев накануне старта?

Сам процесс приготовлений для приверженцев сверхдальних пробегов что-то вроде священнодействия.

Не важно, в какой точке земного шара предстояло провести состязания – пусть хоть среди раскаленных песков в африканской Сахаре! – но все условия должны быть строго соблюдены. Курица должна быть непременно домашней, купленной на базаре и нагулявшей на воле энергию жизненных сил. Ни в коем случае не бройлер! Варка должна быть непременно на медленном огне, а ещё пуще важны всякого рода приправы, специи, тут уж, разумеется, у каждого свои причуды и секреты, которые не подлежали разглашению даже под угрозой пытки.

В золотистых разводах варево бурлит в кастрюльке, источает душистые ароматы, изобличающие предательски тщетность конспирации, а Данька с важным видом помешивает ложечкой, как колдует, благо, поднаторел в кулинарной науке ещё с незапамятных времен, когда его мать после автомобильной аварии оказалась надолго прикованной к койке...

– Завтра для меня очень важный день, – пояснил он задумчиво и неожиданно спросил: – Говорят, можно как-то рассчитать степень благоприятствования обстоятельств, не слыхал?

– Ну как же! – воскликнул я, обрадованный предоставленной возможностью увести разговор в какую-нибудь иную плоскость, чем терзавшие меня вопросы и угрызения. – Считай, обстоятельства тебе благоволят. Фортуна, можно сказать, подает знак, выслав меня в качестве вестника вперед. Сосед мой в комнате, ты просто не поверишь – настоящий Звездочёт!..

– Нет, мне ворожба ни к чему! С подозрением, честно говоря, отношусь ко всякого рода гаданиям на бобах или кофейной гуще, поскольку они настраивают на результат, как правило, не оправданный никакими условиями и факторами.

Я, конечно, сражаться буду до последнего вздоха, но в марафонском беге важно ещё стратегию и тактику определить, раскладку сил наметить, чтобы наиболее рационально выжать себя без остатка.

– И я о том же, – подхватываю, – ведь, строго говоря, не звезды на нас оказывают влияние, но они могут дать нужный совет, неназойливую подсказку, исходя из того непреложного факта, что человек – часть космоса и, следовательно, должен быть ориентирован, где в данный момент своего бытия находится во времени и пространстве, в каких взаимоотношениях пребывает с солнечными протуберанцами. Небесная, как говорится, механика!.. Застать бы только Великого провидца на месте, а то он, похоже, в загул пустился. Совершенно потерял голову на любовной почве!..

И выскочил в коридор, порадовавшись несказанно, что пока успешно удалось избежать излишних расспросов.

Я прикрыл за собой поплотнее дверь, чтобы предательские ароматы не распространились по всему общежитию, не навлекли грома и молний на горемычную голову Даньки Ольхова. Почему-то именно в этот момент я был совершенно уверен, что он помнил про свой давний зарок. Сколь нелепой и неправдоподобной, по прошествии стольких лет, ни выглядела б юношеская клятва, но она помнилась. Нет, не забылась!..

Волей судьбы я был не только свидетелем, но и невольным участником, облаченным доверием и особыми полномочиями в той давней интриге, и потому не мог не почувствовать её тайный нерв. Это мной было вручено роковой особе пространное письмо, содержавшее клятву. Конверт был вырезан из плотного ватмана, скреплен, как полагается для пущей важности, сургучной печатью, а в уголке витиеватыми вензелями черной туши, помнится, было загадочно выведено:

Лист широкий, лист банана,
На журчащей Годавери,
Тихим утром – рано, рано –
Помоги любви и вере...

Строки эти, заимствованные у классика поэзии серебряного века, являясь эпитафией, ясно давали понять побудительный мотив присягнувшего: «...помоги любви и вере».

Кто мог предположить, что у этой затеи, казавшейся вздором, мальчишеством, коего раздирали несносно смутные противоречия и томления чувств, спустя многие годы окажется продолжение!..

Свет в нашей комнате уже не горел. Как и хотелось, мне удалось избежать сочувственных взглядов из-за досадной неудачи на соревнованиях. Толя Забубенный, разбросав руки и ноги, сотрясал воздух могучими свистами, вырывавшимися из его широкой груди, и Шумов-Корабельский уже спал, свернувшись калачиком, жалобно постанывал во сне, точно всхлипывал. Лишь кровать Звездочёта, как и следовало ожидать, оставалась аккуратно заправленной. Впрочем, если накануне старта он заявился за полночь, то теперь, разумеется, дело этим могло не ограничиться...

Я подбил подушку повыше, прилег, не раздеваясь, принялся поджидать возвращения загулявшего Звездочета. Даже вздремнул немного, как в просвете приоткрывшейся двери мелькнула тень. Неся в руках перед собой снятые предусмотрительно туфли, Генка пробирался, осторожно ступал на цыпочках, стараясь не

потревожить чутких сновидений товарищей, когда я его окликнул и потащил с заговорщицким видом в коридор.

– Не ко времени просьба, – принялся объяснять ему, – но друг детства завтра марафон бежит. Третий старт в жизни. Волнуется ужасно, неровен час – перегорит, промашку допустит в стратегии и тактике, не мог бы ты ему какой-нибудь прогноз сочинить на завтрашний день?

– Почему не помочь? Сделаем! – загорелся он, засверкал глазками, и дымчатый чуб принялся клубиться, будто пар над закипающим чайником. – Только точная дата рождения для этого необходима. Знаешь?

– Как же! У меня даже паспорт его есть... Вот, пожалуйста! – продемонстрировал для убедительности документ.

– Ну, коль так... Никаких проблем!..

Звездочёт торопливо скользнул в темноту нашей комнаты, вскоре вернулся с ручкой и чистыми листами бумаги. Он пристроился на подоконнике, принялся усердно что-то вычерчивать, составлять длинные колонки цифр, что-то вычислял, множил, извлекал корни, будто витал среди созвездий и блистательных миров.

– А знаешь, – приподнял он голову, точно сам немало озадаченный, удивленный результатами своих исследований, – у твоего приятеля был, судя по всему, затяжной период кризиса, хандры, невзгод, но теперь он, кажется, готов к взлету. Звезды, во всяком случае, весьма и весьма на сей счет благосклонны...

– Всё! Достаточно! – воскликнул я, выхватив исчерканный цифрами листок. – Пусть рвется в бой!.. Не расхолаживается...

Я помчался вверх по ступенькам лестницы, хотя можно было уже и не спешить. Час поздний, все спят, и Ольхов, понятно, почивает...

Я не стал стучать в дверь, просунул листок в щелку через порог, приписав предварительно в уголке, как наложив визу разрешающей резолюции: «Держай!»

Может, в самом деле полоса невзгод, тяжких испытаний, неудач, отчаяния только повод, достойный предлог для последующего неперемного взлета? Как за отливом следует прилив, и сколь велика амплитуда сожалений и горя, столь велика, должно быть, амплитуда победного ликования? По крайней мере, если действие этого закона, пусть в редких случаях, имеет своё подтверждение, лишь ищет повода и подходящего адресата для распространения сферы своего влияния, то для этого, пожалуй, нет никого более подходящего, чем Данька Ольхов...

И память возвращала без спроса к той давней поре, когда после выпускного вечера, после удачного посещения отдела кадров, чуть взволнованные и оробевшие, ранним утром мы переступили порог ветхой приземистой типографии, где половицы были вышарканы, истерты подошвами от неутомимых снований, к которым отныне предстояло и нашей добавиться беготне...

Рассказ десятый ФРЕГАТ В БУТЫЛКЕ

Учеников наборщика было трое. Мастер выставил перед каждым по деревянной кассе, где в потемневших от времени, перемазанных черной типографской краской ячейках тускло поблескивали насыпью литеры. Он вручил по верстатке, этаким металлической штуковине с зажимом, пояснив, что этим зажимом задается размер строки набора. Верстатку следует держать в левой руке, правой – берешь.

из кассы нужную букву. С изучения кассы и начинается освоение премудростей древней, испокон веку чтимой профессии.

– Как тебя зовут? – спрашиваю я девушку, что оказалась между мной и Ольховым, и тоже, как и мы, облачена в новый, темно-синий халат.

– Полина, – звонко представилась она и пояснила: – Вообще-то, полное имя – Аполлиария. Это в честь бабки. Редкое, непривычное имя. Все меня Полиной называют или просто – Поля. И я себя так называю, а в глубине души – всё равно Аполлиария.

Если вообразить цветущий подсолнух в ярко-желтых лепестках и золотистых веснушках, что взирает на мир с веселым задором и открытостью, то рядом нетрудно будет представить Полину. Волосы у неё, правда, не рыжие, скорее цвета спелой соломы, глаза серые, чуть зеленоватые, а загорелое, круглощекое лицо пышет здоровьем сельского воздуха, простодушно смущается без намека на жеманство, и почему-то невольно хочется тоже улыбнуться.

– Ай, какая я неловкая! – всплеснула она руками, рассыпав набранную строку при попытке выставить её на гранку. Вся работа, считай, насмарку. Теперь необходимо запастись терпением, всю литерную горку разложить по ячейкам кассы и заново зачинать набор. – Покраснев и отдуваясь от конфуза, она приговаривает: – Вот отец у меня – уникальный умелец. Знаете, что он сотворил? Ни за что не догадаетесь и поверить не поверите, засомневаетесь, что на такое способен человек. Он фрегат соорудил. Настоящую модель старинного парусника со всеми мачтами, рубками, крохотным колёсиком руля – точную копию во всех деталях и подробностях со старинной гравюры.

– Что ж в том особенного? – отозвался скептически Данька.

– Ну, в общем-то, модель как модель, только – в бутылке!

– Как это? – не понял Ольхов. Он сосредоточенно насуплен, даже подчеркнута суров, отмечая какой бы то ни было намек на легкомыслие. Какие тут могут быть шуточки, если поглощен столь важным делом!..

– В обыкновенной бутылке! Из-под водки. Хотя сам он ни грамма в рот не берет. В принципе отвергает, поскольку работа у него такая кропотливая, что руки не должны дрожать. Два года собирал модель.

– А ты почему в город уехала? – допытываюсь я. – Родители-то дома остались.

Девушка хмурит брови, видно, что ей не особенно хочется распространяться на эту тему, лишь выдохнула сокрушенно:

– Да всё, считай, из-за этой несносной бутылки...

– Ты же говоришь, что не пил?

– Кабы пил, может, лучше было б... Уж такой он у нас упорный. Непрошибаемый!.. Если что войдет в голову, то всему, считай, конец... Он, вообще-то, дороги строит. На асфальтовом катке работает. Неделю в отъезде, в командировке, неделю – дома... Крупный такой, могучий, а корпит над какой-нибудь мелюзгой, что лишь в лупу и разглядеть можно. Зато спокойный – пушкой не прошибешь. До противного уравновешенный...

– Разве плохо? – подивились мы почти в один голос. – Ценное свойство!

– Может, и ценное, если отвлеченно воспринимать, а не так, когда приходится в жизни сталкиваться... Дома работы – невпроворот, а он день-деньской фрегат ладит, крохотные детальки вытачивает да ещё в бутылку просовывает, а уж там

закрепляет пинцетиком. Посмотришь и диву даешься: откуда у человека может быть столько упорства?.. А на дворе уж зима не за горами, дров заготовить надобно, трубу поправить и крышу починить, а ему всё недосуг. К выставке, видите ли, готовится... Ну, мать и взорвалась. Схватила бутылку, как треснет о стену – до того, поди, накипело, невмочь! Никому, мол, глупость эта не нужна, и нечего тешить себя пустопорожней затеей. Бутылка вдребезги, лишь осколки со звоном посыпались. С одной стороны, вроде посочувствуешь бедной женщине, всякое терпение лопнуть может, а с другой стороны – огромный труд, уникальное творение! Любой бы небось взорвался, тот бы ещё закатил скандал, а отец и бровью не повел. Поднялся молчком, во времянку отправился жить, стал ладить в разрезе вишневой косточки модель крейсера «Варяг». Давно, мол, вынашивал идею...

– А мать как на это отреагировала? – полюбопытствовали мы.

– Ну, она, недолго думая, к соседу Кутепову. Тот ещё баламут и бабник! У меня сразу какое-то нехорошее предчувствие шевельнулось. Я бегом к отцу: «Кутепов нашу крышу чинить собирается». Он поглядывает в окуляры микроскопа, хоть бы хны, ноль эмоций. «Весьма похвально», – отвечает. Ну, мать на стол накрыла, отметить починку надобно, а я опять бегом к батю: «Они, мол, за стол садятся, пиршествовать намереваются». «Понятное дело – полагается после трудов праведных», – отвечал, не отрывая взора от окуляров. Поздним вечером я опять к нему во времянку прибегаю: «Послушай, – пытаюсь ему объяснить, – этот Кутепов, похоже, вообще уходить не собирается. Сидят, песни расппевают» «Извини, – отвечает, не дрогнув голосом, – тут у меня дело весьма деликатного свойства, не трезвонь под руку». Прилаживает что-то пинцетиком, сам будто воплощение олимпийского спокойствия... Наутро я собрала вещи и уехала. При типографии ведь общежитие есть.

– А что Кутепов? – допытывался я. – Остался?

– Не знаю. Пусть сами разбираются... Просто большие таланты как дети... Жизнь им видится в каком-то особом свете, не на побегушках маеты и серой прозой, а наполненной смыслом, когда мелочами быта можно пренебречь... Поэтому они выглядят всегда чудачками, словно не от мира сего... Я и маме это объясняла, а она затвердила одно – нормальной жизни желаю, нормального мужа... «А за чем, – говорю, – такого себе выбирала?» «Кто же его ведал, – разводит руками, – что он эти фрегаты примется ладить да ещё в бутылки просовывать? Сказал бы до свадьбы, глядишь, я и призадумалась бы». «А может, – спрашиваю, – это любовь в нем открыла необыкновенный дар?» «Отстань! – говорит. – Сама как выйдешь замуж, тогда поймешь, почем сей фунт лиха!..» А я, сказать по правде, хотела бы замуж выйти обязательно за какого-нибудь необыкновенного человека. Обязательно за большого таланта...

– Глупая ты ещё, Аполлинария! – фыркнул беззлобно Ольхов, сам напрягся, прикусил губу, вцепившись пальцами в набранную строку, стараясь выставить её на гранку, упаси – не рассыпать, не оплошать. Даже пот выступил на лбу от напряжения, зато сумел-таки, подхватив строку металлической линейкой, выставить её из верстатки на гранку в целости и сохранности.

– Пожалуй, – согласилась девушка без обид. – Осенью я в вечернюю школу пойду, поумнею. Вам нравятся цветы сентябрюшки?

– Что в них особенного?

– Не знаю. А я, когда первого сентября иду в школу, смотрю на цветущие их охапки на клумбах и всегда волнуюсь. Они простенькие, зато какие-то душевные... Люди в большом городе всегда насупленные, чем-то озабочены не по-доброму и как не живут. Будто в суете какой-то мельтешат и ничего вокруг не замечают. Как капли росы блестят на листьях травы, как деревья шелестят, и птицы поют... А в огороде я больше всего люблю, когда подсолнухи цветут. Они будто от счастья жмурятся, и ветер от них медовый...

– Сама ты как подсолнух! – прыснули мы разом, на манер городских долго-вязых циников, отвергающих любой намек на простодушие и умильности...

Мать Даниила выписали из больницы лишь в конце июля. Мы договорились с разбитным шофером «Скорой помощи», вынесли с больничного крыльца тетю Лёку на носилках, и дорогой она с непонятым волнением вновь и вновь принималась пересказывать, обращаясь то ко мне, то к непроницаемому шоферу, как она вышла из-за автобуса, вроде задумалась о чём-то, а здесь, откуда ни возьми, этот старый, допотопный «Москвич». Как упала, не почувствовав удара, даже вскочила сгоряча, хотя не следовало этого делать, и тут внутри тела будто что-то хрустнуло, так и подкосились ноги от нестерпимой боли... Благо, тормоза оказались хороши, хотя слякоть и машина старая, но в исправности содержалась. И водитель, судя по всему, человек хороший... Как он переживал, убивался. Трёхлитровую банку гречишного меда принес и горной смолы мумиё, что, говорят, способствует срастанию костей...

Склоняясь у изголовья, Данька ласково успокаивал её:

– Не расстраивайся! Всё самое ужасное позади. Дома быстрее на поправку пойдешь. А то какая в больнице атмосфера – все кричат, стонут, и разговоры про одни лишь болячки и хвори.

– Ну, не скажи! Палата у нас дружная была, никто не сдавался. Взять, к примеру, ту горнолыжницу, что рядом со мной лежала. Вся в гипсе, живого места нет – на крутом спуске горного слалома не справилась со скоростью, вылетела с трассы и в валун врезалась – прямо в лепешку разбилась, но тоже крепится. Лица не видно, зато нет-нет да отпустит какую-нибудь шутку из своего панциря. Та ещё юмористка! Все удивлялись и тоже старались не падать духом, поскольку, оказывается, это труднее всего – не сдаваться и не унывать... Да и врачи, как на подбор, оказались хорошие, с сочувствием, хотя и молодые... Дома-то, конечно, лучше...

– Танцевать ещё будешь и нас научишь. А то мы твоего любимого вальса так и не освоили. Представляешь, станем свадьбу справлять, ту самую, до которой, говорят, всё заживет, и получится, что в грязь ударим лицом, опростоволосимся. Так что бери на себя обязательство!

– Ладно, посмотрим на ваше поведение.

Подхватив носилки, мы несем их в подъезд, где у крыльца любопытные соседки толпятся, сострадают, склонив головы набок и сложив руки на оплывшие животы.

– Прямо с того света, Лексевна.

– Здравствуйте! – кивала она в ответ. – Довелось-таки свидеться.

– Сынок твой молодец, – докладывали те нараспев с повадками неисправимых ябедниц. – Один хозяйничал, а не безобразил. Школу закончил, на работу, как полагается, поступил без каких-либо проволочек. Папиросками не баловал,

не то чтобы выпимши кто заприметил. Ни-ни! В больницу тебе вон бульоны в термосе таскал...

Она краснеет, стыдливо смущается, даже непрошенная слеза наворачивается на глаза, но тут же смахивается торопливой рукой:

– Спасибо вам на добром слове...

И соседки трут глаза, шмыгают носами, точно сетуют в сердцах, мол, на своих-то сорванцов разве напасешься столько автомобильных аварий, чтобы они уразумели хоть что-то...

Тетя Лёка ещё не встает с постели. Новый гипс ей сделали полегче, не такой громоздкий, как прежде, но раны гноятся, раздробленная кость плохо срастается. Данька привязал к спинке кровати толстую веревку-канат, перехватывая руками который, она пытается приподняться, но пока, после долгих месяцев неподвижности это дается ей с великим трудом...

– Не горюй, мамулёк! – ободрял заметно повзрослевший за лето Данька. – Всё образуется, время – лучший лекарь... Я тебе кашу сварил и курицу на обед. Вот чай тебе, хлеб с маслом, а я на работу побежал...

Он звонко чмокнет её в щеку, сбегает по ступеням широкой лестницы во двор.

Проходя мимо клумбы, Данька приостановился, обнаружив, что лиловые сентябрюшки уже распустились пышным снопом. Почему-то вспомнилось признание Полины о волнении при виде этих неброских, проще сказать, весьма неказистых цветов, принялся прислушиваться к себе, точно проверяя, отзовется ли что? Огромный шмель гудел в цветках, и в груди словно что-то откликнулось смутным гулом. Странно, никогда подобного за собой не замечал. «Несомненно, – рассудил, – это всё результаты безжалостной борьбы, нещадного искоренения в себе эгоцентризма, коего приговорил к высшей мере после случившегося с матерью несчастья. Без ложной скромности признаться, весьма немалые с той поры ощутил в себе перемены. Понятливее стал, уступчивее, с души как камень сдвинулся, открыв доступ неведомым чувствам, отнюдь не чуравшимся, по-видимому, сантиментов, даже лиловыми сентябрюшками залюбовался...»

У проходной типографии Ольхов предъявляет с важным видом пропуск, пересекает крохотный внутренний дворик, окинув привычно мельком доску с приказами и объявлениями, входит в наборный цех. У фанерного шкафчика он облачается в синий халат. У соседнего шкафчика я тоже одеваю вечно перемазанный черной типографской краской халат.

Расправив горделиво плечи, мы шагаем пустынным наборным цехом, высвеченным проникающими из окон широкими косыми полосами солнечного света, каждый извлекает из кармана непременно, наряду с верстаткой, орудие труда наборщика – остро заточенное шило с деревянной ручкой, и мы приступаем к разборке газетных полос.

Заключенный в металлические рамы верстальных станков набор покрыт черным сукном, мирно покоится в утренней тиши, и поверить невозможно, сколько накануне тут было хлопот, суматохи, сродни возбуждениям развороченного муравейника. Выпускающие корпели над макетами, перекраивая их так и эдак, дежурные литсотрудники носились с оттисками гранок и печатью озабоченности на челе, поминутно подбегая к телефону и сиюсья перекричать грохот линотипов, согласовывали с редакциями, что сократить, где вставить экстренный материал,

а мудрые верстальщики поглядывали на происходящее чуть свысока, точно с Гималаев многотрудного опыта, когда, всякое повидав и претерпев сполна, ажиотаж и сумятица видятся в ином, несколько уменьшенном масштабе. Они невозмутимы, ироничны, зато проворные пальцы, экономные в движениях, мелькают с поразительной сноровкой, прилаживают на положенное место заголовки, колонки линотипного набора, устанавливают подставки для цинковых клише с фотографий, формируют, так называемый, газетный подвал, проявляя при этом чудеса изобретательности, поскольку воплощение предначертаний макета требует скрупулезности математического расчета, ни одна литера не должна колыхнуться, ни одна линейка не должна покоситься. Всё должно быть подогнано с точностью до пункта – наименьшей единицы в типографской системе мер, не от этого ль происходит слово «пунктуальность»?

Откинешь с газетной полосы темное сукно и, перед тем как ослабить острием шила винты металлической рамы, некоторое время поглядываешь зачарованно на маленький шедевр. Рука медлит, глаз старается запечатлеть приемы мастерства, словно тщась выведать секреты. Быть может, со временем всё примелькается, станет ремеслом, производством, а пока не устаешь удивляться и, приступая к разборке, будто погружаешься в таинство отпылавшего накануне процесса творения, проходя его в обратном порядке: от конечного результата к истоку. Шрифты заголовков извлекаешь на гранку, заодно нужные линейки и пробельный материал, а линотипные строки без сожалений летят в ящик – на переплавку! В один деревянный ящик – линотипные строки, в другой – цинковые клише, что воспроизводят фотографии и рисунки.

Вчера поздним вечером с этих полос изготовили на толстом картоне под прессом матрицы, затем с них отлили серебристые полусферы для ротационных машин, и те, запущенные на полные обороты, рьяно трудились всю ночь, а по транспортерным лентам текли и текли полноводные реки тиражей. Теперь газеты, увязанные экспедицией в пачки, развозились по газетным киоскам, почтенные почтальоны, набив ими толстые сумки, разносили по квартирам вместе с запахом свежей краски вороха новых вестей. Ну, а набор надлежит разобрать для нужд насущного дня...

Случалось и забавное. Из рода тех странных оказий, про которые говорят – нарочно не придумаешь.

Как-то Данька Ольхов подошел ко мне, вращая озадаченно в пальцах линотипную строку, извлеченную, судя по всему, из разбираемой им газетной полосы:

– Смотри-ка, твоя фамилия. И имя твоё.

– Да, – кивнул я утвердительно.

– Тут стихи какие-то. – Он порылся в карманах рабочего халата, извлек четыре линотипных строки, протянул мне их.

Я взял отлитые из серебристого металла строки, долго вглядывался в буквы, выплывавшие, как полагается в типографском наборе, вверх тормашками:

Дымил завод,
Пуская кольца,
И закоптил
Бельё и солнце.

Ночью от этих рожденных в горниле грохочущего линотипа строк, к которым прикасалась рука верстальщика, и рука печатника нажимала кнопку на пульте

ротационной машины, брала начало полноводная река тиражей. Теперь газеты, развезенные по городам и весям, продаются в киосках, почтенные почтальоны разносят их в толстых сумках по домам, а сочинитель, ваш покорный слуга, держит собственное четверостишие на ладони...

Данька, истолковав заминку по-своему – со стороны, должно быть, складывалось впечатление, что я силился припомнить происхождение строк, но никак мне это не удавалось, – поспешил на помощь:

– Там ещё была какая-то строка... Я почти весь линотипный набор уже разобрал и в ящик выбросил, как случайно обратил внимание на последнюю строку с твоей фамилией. А перед ней вроде ещё были слова: «Текст и рисунки».

– А рисунки где? – спохватился я. – Тоже выкинул?

Мы помчались к деревянному ящику, куда Данька Ольхов бросал с разбираемых полос закрепленной за ним газеты цинковые клише, принялись торопливо ворошить их и вскоре, на удачу, обнаружили сначала одну, затем другую – сохранившиеся пластины.

Сходные по композиции рисунки, поставленные рядом, обнаруживали весьма существенные различия. На первом клише женщина развешивала на веревке постиранное белье, муж её с умилением поглядывал на мирные домашние хлопоты, в небе сияло лучезарное солнце, а за забором, пуская черные зловещие дымы, трудились заводские трубы. На втором клише – из труб уже не валили рачительные черные клубы, зато бедная женщина и участливый муж были от расстройтва в полубморочном состоянии, поскольку белье на веревке оказалось чёрным, и солнце в вышине померкло, покрывшись копотью...

Мы кинулись к большой корзине, куда после того, как газета была подписана к печати, перекечевали все редакционные материалы. Долго рылись в бумагах, испещренных всевозможными исправлениями, сокращениями, вставками, с пестревшими в изобилии пометками дотошных корректоров, следами честной работы и творческих мук. Вчера эти груды были поиском верного слова, дерзанием, а теперь разом стали макулатурой, ненужным хламом. Долго перебирали бумажные вороха, но отыскиали-таки два небольшие рисунка, сделанные черной тушью...

Конечно, обстоятельства счастливого случая требовали некоторых пояснений, невольно подтверждая известную формулу поэта: «Начало было так далеко, так робок первый интерес...».

Со школьной скамьи я пристрастился к занятию, которое можно было назвать увлечением и охотой, что пуще неволи: писал всякого рода заметки, ходил с ними по редакциям, тшась куда-нибудь пристроить.

Началось с того, что однажды летом при одной из молодежных газет, где, как водится, обычно возникают разные идеи, новации, организовался клуб «Учись писать в газету», поскольку от сети внештатных авторов, добровольных помощников-корреспондентов в немалой степени зависит содержание и актуальность печатного органа. Сотрудники, умудренные опытом газетной работы, провели с собравшейся по объявлению весьма пестрой публикой несколько занятий – как «братъ за рога» немногословную, но строптивую информацию, как написать репортаж, зарисовку с места событий или рецензию на просмотренный фильм. Хорошая идея, правда, быстро иссякла, клуб распался, а я продолжал ходить проторенными тропами, всё больше и больше заражаясь зудом сочинительства. Таким

уж для мальчишки было потрясающим событием: развернуть свежую газету и увидеть пусть крохотную, в несколько строк заметку, где все слова принадлежали собственным усилиям ума и пытливости, и набранная жирным шрифтом фамилия автора доподлинно засвидетельствовала сей бесспорный факт.

С неумолимостью я рыскал в свободное от занятий время по городу, выискивал добычу для своего пера, оттачивал его день ото дня всё острее, набивал, как говорится, руку и навык. Про выставку детского технического творчества писал про первенство по футболу среди дворовых команд, про открывшийся автовокзал и новый трамвайный маршрут, про концерт самодеятельности для избирателей и соревнование таксистов на дальность езды, если в бак автомобиля залито всего лишь двести пятьдесят граммов бензина. Ничем не гнушался, пробовал себя в разных формах, а как-то даже к рисункам дерзнул прибегнуть на злободневную тему. Подписал незатейливо: «Без слов». В редакции посмотрели на рисунок, вроде проблеск одобрения мелькнул в глазах, но надпись забраковали категорическим образом – нужны слова. До позднего вечера я извел дома за письменным столом уйму черновиков и сочинил четверостишие, что теперь держал в руках отлитым в металле.

Правда, с той поры, когда я отнес рукописный листок в редакцию, успело минуть ни много ни мало – около года. За это время, честно сказать, я успел несколько охладеть к животрепещущей информации, к актуальным репортажам, зарисовкам с места событий на злобу дня, которые, благодаря умелой оперативности, буквально через день или другой могли оказаться в печати. С одной стороны, работа в наборном цехе не позволяла рыскать по городу в поисках нужных материалов, а с другой – иное смутно влекло разумным доводам вопреки. Поиском иных слов томилась душа. Тех, без конъюнктурного подобоострастия, лучших, где всё nelaкированная действительность, и «дышит почва и судьба». Хотя о трудной доле такого рода публикаций следовало призадуматься в первую очередь. Четыре бесхитростные строки на ладони – подходящий повод для размышлений. Ни для кого не секрет необъяснимая миру отечественная склонность к препонам, к подозрительным оглядкам, запретам – не то что года, жизни порой не хватит, чтобы сокровенному, заветному слову оказаться напечатанным... Впрочем, терзаясь сомнениями, я ведь потому и направил стопы с Данькой Ольховым в типографию не одной солидарности ради, но чтобы избежать опрометчивости в выборе, принять взвешенное решение. Время – сторонник честной правды без прикрас и непричесанных мыслей! – лучший советчик...

Покончив с разборкой газетных полос, стайка учеников слеталась в дальний угол наборного цеха, принося с собой гранки, наполненные шрифтовым и пробельным материалом, что годился для последующего использования. За огромным столом, обитым сверкающими листами железа, происходила сортировка собранного урожая, в процессе которой необходимо было научиться различать шрифты по рисунку, безошибочно определять все параметры на глаз и на ощупь.

Верховодила здесь сухоньякая, морщинистая разборщица Пелагея с толстыми линзами очков, неизменно сползавших с переносицы на самый кончик вислого носа. Тщедушная, чопорная от сознания значимости своего ремесла, она поражала скупостью фраз, когда требовалось пояснение на въедливые наши вопросы по существу изучаемого предмета. Зато с избытком цветистых оборотов обрушивались словесные потоки, если речь заходила про долговязого парня с длинными.

лоснящимися, гладко зализанными назад волосами, который работал в мелочном цехе, а порой проходил мимо нас с верстаткой в руке, размеренно вышагивал от реала к реалу, выбрасывая длинные ноги, как журавль. Чадо её ненаглядное! До года, говорит, головку не держал, а теперь вон какой вымахал, на философа мечтает учиться...

Поглощенные своим кропотливым занятием, мы как-то не сразу сообразили, что это она перед Полиной нахваливает сына. Бойкая сметливая девушка, должно быть, ей весьма приглянулась...

После обеденного перерыва в тиши комнаты отдыха мастер проводил с нами теоретическое занятие, и под вкрадчивый скрежет древоточца в старых бревенчатых стенах мы конспектировали, поскрипывая ручками в толстых тетрадах и упиваясь звучностью неведомых доселе слов: кегель, шпоны, шпации, петит, непарель...

Однажды Данька простудился, слег с температурой в постель. После работы я зашел проведать приятеля, едва снял куртку, как новый звонок затрещивал в дверь. Ольхов соскочил было с кровати, но я махнул ему рукой – не беспокойся, открою. Щелкнул запором и, распахнув дверь, был весьма озадачен:

– Полина?!

Данька, переминаясь за портьерой в длинных трусах, высунул крайне удивленную физиономию:

– Привет! Ты чего?

– Не ожидал? – смеётся она. – Всерьёз расхворался? Перед школой, подумала, навестить надобно.

– Кто там, Даня? – отозвалась из комнаты тетя Лёка.

– Да так... Товарищ по работе.

– Что ж ты не приглашаешь? Топчитесь там в коридоре... Приглашай скорее.

– Проходи, – исправляет Данька промашку, сам опрометью кинулся натягивать штаны, производя почему-то невообразимый шум и грохот. – Я сейчас. Оденусь только...

– Да я, собственно, на минутку, – оправдывалась Полина, видя переполох, произведенный её визитом, сочувственно спросила, заглянув в комнату Даниной матери: – А вы тоже болеете?

– Меня машина ещё весной сбила. Разве Даня ничего не говорил?

– Ничего не рассказывал. Он у нас довольно скрытный.

– Скорее, это видимость у него такая бравая. Не любит распространяться про беды... Да ты проходи. Присаживайся, – кивнула она на стул, стоявший возле кровати. – Просто так уж извелся со мной за эти полгода, что улыбнуться лишний раз недосуг. Никто не думал – не гадал, что такое несчастье вдруг свалится на нас. Про это разве думаешь? На работу ехала, вышла из-за автобуса, а в этот момент, откуда ни возьмись...

Заметно повеселев, она принялась пересказывать известную историю, стараясь не упускать подробностей. Как внезапно вывернула машина, как упала, не почувствовав удара, даже вскочила сгоряча, хотя ни в коем случае этого не следовало делать, ибо внутри тела что-то противно хрустнуло, так и подкосились ноги от нестерпимой боли. Это было ошибкой, а за незнание всегда приходится расплачиваться высокой ценой. Нельзя было подниматься ни под каким предлогом, следовало прежде фиксированную перевязку сделать с шиной или с какой-нибудь

доской, а уж потом транспортировать в больницу. Не столько удар автомобиля оказал пагубное воздействие, но больше – дремучее невежество. Закрытый перелом бедра с того и произошел, врачам пришлось железный штырь внутрь кости вколачивать, чтобы срослись раздробленные части, потом выколачивать его. Жуткие мучения! Не приведи испытать подобное...

– Дане, должно быть, трудно за вами ухаживать? – интересуется Полина. – Мужчины уж так устроены, что трудности быта их легко из колеи выбивают, в панику сразу горазды ударяться, раскисать. Любят, чтобы о них заботились...

– Нет, он у меня молодец, справляется. Раньше толком ничего не умел, картошку почистить – не заставишь, а теперь всю поварскую науку освоил. Самостоятельно всё готовит, будто родился кашеваром. Мужчины, надо заметить, всё могут, прикидываются только горазды, да побудить сложно...

– А если я забегать к вам стану, помогать, чем смогу?

– Забегай, конечно. Я буду только рада и безмерно тебе признательна, а то и словом не с кем обмолвиться. Лежать день-деньской, уставившись в потолок, так уж надоело, до ужаса опротивело. Целый день лежишь, а потом ещё ночь впереди, не представляешь, какая это тягость.

– Полина в вечерней школе учится, после работы ей на занятия поспеть нужно, а ещё домашние задания. Когда помогать? – отозвался с явным неодобрением Данька, заслышав про женский сговор.

– Я проворная. Успею... Что вам, к примеру, приготовить? Картошка есть? Повенгерски желаете? Или под белым соусом? Это мигом, в два счета... Ты, Даня, коль честно температуришь и причина вполне уважительная для снисхождения, можешь в постель отправляться. А тебе, – обратилась она ко мне прорезавшимся внезапно тоном поварских дел полководца, не терпящего препирательств и увилваний, – картошку чистить, а я за соус примусь...

Полина принялась бойко хозяйничать на кухне. Я отыскал в посудном шкафу картофельный ножик, извлек стоявшую за газовой плитой фанерную коробку с припасами розоватых картофельных клубней, стал корпеть над их чисткой, изошряясь в тонкости и длиннотах серпантинной кожуры. Данька, вопреки свойственному упрямству, проявил разительную покладистость, без отговорок исполнил повеление – отправился в постель, хотя, разумеется, не выразил особых восторгов ни от тона, ни от бесцеремонного вторжения в их размеренную, отлаженную жизнь...

А в четверг, выйдя на работу после больничного, Данька Ольхов и увидел впервые Веронику.

Летом, как узнали мы, наведя кое-какие справки, она ездила поступать в Московский университет, ибо грезилась о журналистике, но не прошла по конкурсу, недобрала одного злосчастливого балла, теперь будет работать корректором в одной из печатавшихся в типографии многотиражек.

Когда легкой походкой, чуть вскинув голову, она входила в приземистое помещение наборного цеха, где сумрак таился по углам и преобладали мрачно-ватые тона древних громоздких реалов, черного сукна верстальных станков, потемневших от времени, перемазанных типографской краской деревянных касс с поблескивающей в ячейках литерной россыпью, всё буквально вспыхивало, озарялось. И тогда, кажется, Данька Ольхов подумал ненароком о шаровой молнии.

Рассказ одиннадцатый

ФАЛЬСТАРТ В БЕГЕ НА МАРАФОНСКУЮ ДИСТАНЦИЮ

Жара, раскалявшая к полудню бетонную чашу стадиона, точно сковородку, вынудила организаторов перенести начало соревнований вместо привычного вечера на ранние утренние часы. Разумное это решение осложнило жизнь совам, как принято называть стойких полуночников, от которых спозаранок трудно ожидать пика двигательной активности, а следовательно – рекордных высот. Поскольку и я принадлежал к числу приверженцев ночных бдений, неусыпных стражей и ловцов капризного вдохновения, что имело обычай выбирать для посещений тишь неурочного часа, этого нельзя было не учитывать, выходя на старт с наступлением нового дня. Хочешь не хочешь, а должен выдавливать из себя раба обстоятельств.

Зато Даньке Ольхову любая рань не помеха. Он – пташка рассвета. Вернее, сам приучился к пробуждениям в пять часов утра и неуклонно следовал, несмотря ни на какие соблазны сладкой лени, строгому принципу в выработанной для себя системе мер воспитания. Быть может, это и есть тот самый случай, который подразумевается древним изречением о том, что мудрые повелевают звездами?

В секторе для прыжков я колдовал над своим «джинном» – фибергласовым шестом, старательно подматывал изоляционной лентой, чтобы удобнее было держаться, место так называемого «хвата», а между делом поглядывал за приготовлениями марафонцев к началу многотрудной борьбы.

После долгой переключки они выстраиваются бесчисленными рядами, напоминая растревоженный улей, наконец судья в полосатом нарукавнике поднял кверху стартовый пистолет, поблескивающий на солнце, воцарилась мгновенная напряженная тишина, но что это? Выстрел ещё не грянул, сизоватое облачко не взметнулось над дулом вороненой стали, а кто-то рванулся преждевременно вперед, и вся пестрая лавина бегунов колыхнулась следом.

По трибунам, изобилующим из-за раннего часа уймой свободных мест, прокатился едкий смешок – ну надо же, небывалый случай!.. Фальстарт, и где? На отнюдь не короткой, не скоротечной какой-нибудь дистанции, где решают неуловимые доли мгновений, а на столь изнурительном многокилометровом пути, легендарное имя которого говорит само за себя – марафон! Кому неймется? Кто совладать не в силах с зудом нетерпежа? Долговязый парень, на которого указал судья соревнований, поднял вверх руку как виновник проступка, возвращается назад, свесив обескураженно белобрысую голову, и я даже обомлел от растерянности. Данька Ольхов! Вот так отличился, угодил курьёзом в анналы народной молвы...

Все оглядывали сухопарую фигуру виновника неслыханного недоразумения, пытливые взоры с пристрастием устремились отовсюду, как трассирующие пули, но едва пересеклись в одной точке, мгновенная вспышка испепелила разом всякий интерес, распознав безошибочно новичка, – это нервы, из-за неопытности и перевозбуждения, когда банальный срыв вряд ли заслуживает снисходительной усмешки. Даже с натяжкой не заподозришь намека на какой-нибудь многозначительный символ, как, возможно, того и хотелось бы.

Марафонцы недовольно фыркают, бухтят с раздражением и укоризной, мол, что за несуразность, когда вся борьба впереди и одно мгновение в начале пути ровным счетом ничего не значит.

Лишь Сафар, наиболее опытный из участников пробега, товарищ по команде, приблизился, шепнул сочувственно: «Не переживай! Всякое бывает... Постарайся вработаться в темп, запастись терпением. Попридержи себя по возможности до тридцать пятого километра, обычно там всё решается...»

К совету корифея, кем в марафоне несомненно является Сафар, нельзя не прислушаться. И зная, сколь весома подсказка, пуще оценишь жест доброй воли – не каждый на такое способен! Кому, мол, надобно себе соперника пестовать – сами уж будьте любезны, набивайте шишек, так и учитесь, как мы учились. Данька кивнул признательно, скомкав сконфуженную улыбку...

Бегуны вновь долго выстраивались, бесцеремонно толкались, тесня друг друга, дабы занять выгодную позицию. Наконец хлопнул долгожданный выстрел, зашелестели пронзительно, будто натертые канифолью, подошвы, от пестроты маек рябило в глазах.

– Данька, давай! – орал я с шестом в руках, когда лавина бегунов шумно пронеслась по виражу дорожки стадиона мимо меня, обдавая жаром горячего дыхания.

– Не зарывайся, Данёк! – вопил оказавшийся неподалёку его тренер Маслобойщиков. Понятно, лавров от Ольхова никто не потребует. Никто не ждет от него чудес. Дал бы какое-нибудь «завалящееся» зачетное очко, и то было б пределом мечтаний. Тут все ассы собрались, сильнейшие из сильных, куда уж ему тягаться. Реально нужно оценивать силы. Он, хотя и занимается бегом с детских лет, можно сказать, с пеленок, но прежде средними дистанциями увлекался, затем на стайерские переключился, правда, с тем же маловыразительным успехом – ни в чем не преуспел. Теперь вот марафоном решил себя испытать. Первый раз бежал, кое-как до финиша дотянул, почти пешком доплелся, едва переставляя ноги в числе безнадежных аутсайдеров. Потом, правда, совершенно неожиданно для всех призером стал республиканского первенства, хотя, конечно, это мало о чём говорит – уровень не тот. Просто в сборную команду сумел попасть, на нынешний форум пробился, что само по себе достижение. В марафонском беге случайных побед не бывает, тут не воля слепого случая всё решает, а выносливость, выпестованная в солёных трудах многолетних каждодневных тренировок, в непреклонных упорствах через «не могу»...

А у Даньки Ольхова на лице написана решимость, безрассудная одержимость, будто и не слышит предостережений наставника. Мол, разумеется, всё правильно. Всё бесспорно, и препираться нет смысла. Однако... Да, он совершал ошибки, спотыкался и падал, а теперь вышел победить... Заикнись он кому-нибудь о подобном намерении, несомненно на смех поднимут, хвастливым резонерством покажется заявление и жалкой самонадеянностью, но это ничего не значит. Он должен победить, и всё тут!.. Просто обязан...

Судья-информатор в хриплые репродукторы призывает зрителей подбодрить аплодисментами рыцарей марафона, настоящих мужчин, отправившихся в свой долгий путь, на трудных километрах которого отвагу и доблесть нельзя преувеличить. И зрители, пусть малочисленные, отзываются чутко шумом рукоплесканий.

Огромные железные ворота стадиона распахнуты настежь, и многоцветный поток бегунов выплескивается на проспект, где движение транспорта уже перекрыто повелительным жезлом заботливой милиции. Замерли сверкающие на

солнце лимузины, застыли троллейбусы и автобусы, битком заполненные терпеливыми пассажирами, а редкие прохожие теснятся у бордюров, вытягивают с любопытством шеи, образуя живой коридор.

Тут только, оглянувшись мельком на повороте, Данька Ольхов с удивлением обнаружил, как их всё-таки много, думающих примерно так же, как и он, преисполненных, выйдя на старт, таких же жгучих честолюбивых желаний. Пусть так, думал он, разве это что-нибудь меняет? Разве это может поколебать решимости хотя, возможно, она и за гранью здравого смысла...

А я, проводив взглядом лавину бегунов, устремившихся на улицы города, отметил не без удовлетворения: хорошо всё-таки, что не отдал Даньке вчера телеграмму. После финиша, что состоится здесь же, на стадионе, спустя каких-нибудь два с половиной часа, и вручу депешу. Честолюбивые чаяния, между прочим, отменное подспорье для одоления тягот марафона, как и те странности необъяснимых воодушевлений, которыми наш любезный герой так обманываться рад...

Ни с одним явлением в природе, что знал жизненный опыт Даниила Ольхова – ученика наборного цеха, этого нельзя было сравнить. Любая метафора блекла, любая гипербола выглядела убогой, ходульной. Разве что с шаровой молнией напрашивалась пусть весьма отдаленная аналогия, да и то по слухам. Недостоверно. Достоверным было другое. Наборный цех старой приземистой типографии, где преобладали тусклые оттенки свинца, древних, потемневших от времени реалов, буквально вспыхивал, озарялся, когда входила Вероника. Данька столбенел как сраженный, провожая долгим взором девушку, что шла, чуть вскинув горделиво голову, пока не скрывалась за дверью корректорской. Потом ещё несколько мгновений он стоял в оцепенении истуканом, будто опаленный огненным заревом, с опаленными ресницами и легкими, затруднявшими дыхание. Внезапно, оценив нелепость своего положения, он спохватывался, принимался носиться как угорелый по наборному цеху от кассы к кассе с верстаткой в руке, разметав полы темно-синего халата и не ведая устали...

Судья выкликает мою фамилию, и я, сняв тренировочный костюм, беру в руки шест...

Следует взмах белого судейского флажка, сигнализируя, что всё готово, невесомая планка, чуть вздрагивающая даже от легкого ветерка, закреплена на нужной высоте, и я, покачавшись пружинисто на носках, начинаю разбег. Поначалу немного вразвалку, будто с лентой, потом всё стремительнее набираю с каждым шагом скорость. На полном ходу вонзаю шест в деревянный ящик, что служит упором, зависаю, ухватившись цепко, на отметке, обмотанной изоляционной лентой, будто грузная спелая груша на ветке. Держу паузу, затем всё происходит вроде само собой: шест, изогнутый в дугу, стремительно распрямляется и катапультной выбрасывает меня в поднебесье, словно лишив земного притяжения. Я лечу ввысь и там, планкой, изогнувшись с ловкостью, отрепетированной упорными тренировками, оггибаю её, ничуть не задев, вернее, одолев с большим запасом, и долго, долго падаю вниз, приземляюсь спиной на поролоновые маты. Потом ещё некоторое время лежу, наблюдая, как над планкой проплывают грядой белоснежные облака, а она остается неподвижной, что является самой отменной приметой – высота покорена!..

Взяв легко с первой попытки начальную высоту, я выбираюсь из поролоновых груд. Принимаю из рук судьи свой любезный шест и по заведенной

традиции привычно отыскиваю взглядом сидящего на трибуне Константина Петровича. Тренер на языке жестов, обговоренных заранее и понятных лишь нам двоим, показывает, какие необходимо внести коррективы в прыжок, пусть весьма успешный. Следует поднести разбег на полступни вперед, не растягивать последний шаг, и паузу «в висе» держать куражистой, как в драме, где ружьё должно выстрелить...

После памятной земельной экспедиции, когда Звездочёт привел меня в секцию легкой атлетики, я всю зиму потратил на усердие в неподъемных трудах, чтобы оправдать сорвавшийся по опрометчивости с языка результат. Зато после первых весенних соревнований мне выпало раскопать в кипе старых бумаг каким-то чудом сохранившуюся знаменитую тетрадку, что была заведена у нас с Данькой Ольховым в незабвенную пору соперничества с дворовыми сорванцами, куда вносились любые мало-мальские достижения. Затаив дыхание, с невыразимым наслаждением я вывел ручкой во многих разграфленных некогда колонках новые строчки, и записи эти разительным образом отличались от детского почерка и весьма смешных – с вершин достигнутого! – былых успехов...

Понятно, главным виновником моего нового увлечения, подвигнувшего на воловьи труды, был наш Бугор...

Голубоглазый, улыбчивый, с посеребрившимися висками Константин Петрович Балясников не признавал столь распространенного в тренерской среде менторского тона, мальчишески предводительствовал во всех затеях. На разминке он бегал вместе с нами по баскетбольной площадке или гонял заодно футбольный мяч, досадовал в сердцах, промахнувшись по воротам из выгодного положения, и ликовал с непосредственностью от забитого гола. Когда по улицам города проводилась легкоатлетическая эстафета, он буквально вываливался из люльки мотоцикла, сопровождавшего бегунов, срывал голосовые связи в надрывных криках, подбадривая и размахивая руками. Весной, едва пригревало солнце, знаменуя близкий конец метельной канители зимы, он брал в руки лопату, долбил от нетерпения рыхлый лед катка, который неизменно заливался на нашем университетском стадиончике. Долбил канавки, дабы проворнее текли ручьи, поскорее просохли беговые дорожки, и мы, накачанные литыми мышцами, смогли бы покинуть душный спортзал, вдосталь носиться на свежем воздухе, хмелея от запаха пригретой влажной земли и едва проклюнувшейся зеленой травки. Совершенно очевидно, мышечная радость оттого и настигала, что тому способствовала царившая на тренировках команды атмосфера, которую умел создавать редко хмуривший брови – во всяком случае, без достаточно веских оснований! – наш наставник...

Ода этой негромкой радости да не покажется свойственным жанру преувеличением, если вспомнить древнее напутствие индейцев, признанных воинов, неутомимых знатоков звериных троп: чтобы долгий путь не был в тягость, томлением духа, и усталость не подкосила ноги, нужно каждый шаг делать с удовольствием. Сказать-то легко, но нет в жизни ничего, наверное, сложнее, чем исполнить сей завет.

Речь, разумеется, не идет о каком-то безудержном веселье или безоблачном состоянии в угоду господствовавшей теории бесконфликтности. Травмы непрестанно преследовали, досады, свойственные возрасту молодые терзания, недовольства собой.

Из всех огорчений главным был, пожалуй, скудный, до обидного куцый календарь соревнований, когда в разгар лета облетал последний листок. Не успеешь как следует приноровиться, ощутить накал борьбы, настоящего соперничества, без которых немислим рост результатов, достижение новых высот, а следовало уже зачехлять боевые доспехи. Вместо щедрой осени, доброй на рекорды, на сборы плодов от вложенных трудов, оставалось лишь сетовать, горько сожалеть об извечном: об упущенных шансах, нераскрытых возможностях, о тех тайных, заложенных в человеке неисчислимых способностях, обнаружить которые, реализовать по самому достойному из правил «не казаться, а быть» – увы! – не призвала судьба...

Завершив сезон, мы отправлялись обживать дикий по тем временам берег Иссык-Куля, где на правах пионеров, первооткрывателей выделенной для республики зоны отдыха строили университетский спортивно-оздоровительный лагерь. Жили в палатках, возводили, стуча молотками и топорами, первые коттеджи, столовую, заливали бетоном пятачок танцплощадки среди густых зарослей облепихи. Конечно, загорали, тренировались, с азартом состязались на горячем песке пляжа в беге, прыжках, многоскоках, готовясь с упорством к новым стартам.

В темные холодные ночи, когда после дневного зноя от зябкой прохлады, которой тянуло с ледников, не спасали свитеры и теплые куртки, мы подолгу сидели на берегу озера, и Константин Петрович, бывало, поражал нас задумчивостью взора. Глядя на серебрившуюся через всю необъятную водную гладь лунную дорожку, загадочно поблескивавшую под огромным, распахнутым звездным небом, он порой вздохнет, обращаясь не то к нам, не то к давнему разговору с самим собой: «В жизни всё вперемешку, и печаль и радость, достойные дела и те, что так себе – делишки, обывательский быт и всяческая суета... Но в этой неразберихе и хаосе спорт способствует стойкости, закалке характера. Он способствует целеустремленности и самоотдаче, когда, поставив перед собой немислимую задачу, ты должен идти несмотря ни на что...»

В вихрастой юности Балясников мечтал о бамбуковом шесте. В не слишком сытые, скверно обутые-одетые послевоенные годы с пылкостью нескладного подростка он грезил во сне и наяву, как возьмет его в руки, прикоснется с трепетом ладонями к золотистому, длиннущему, точно оглобля, но легкому, с глянцевиными, таинственными наплывами колец, как разбежится, оттолкнется и взлетит в небесную синь всклокоченной птицей, что рождена для безумств полета.

Он выбирал поровнее сосновую жердину, состругивал душистую смолистую кору, тщательно зачищал наждачкой. Затем мастерил высокие деревянные стойки, просверливал через каждые пять сантиметров отверстия, куда можно было вставлять колышки. На колышки вешалась веревка с привязанными к концам грузилами из крупных гаек – устанавливай, пожалуйста, на какой угодно душе высоте да дерзай.

И вот в широких ситцевых шароварах, раздувавшихся пузырями, он разбежался, шумно сопел ноздрями, взлетал с развевавшимся на ветру вдохновенным чубом. В воздухе, оттолкнув от себя шест и лихо извернувшись, он перемахивал через веревку, затем падал на огромную кучу убранный со всего огорода картофельной ботвы. И тогда раздавались звонкие хлопки ладоней, отмечая удачу. Соседские девчонки, точно любопытные ко всякой невидали галки, лепились на заборе, выражали женский восторг, поощрявший на доблесть и покорение новых недоступных высот.

Однажды, собрав нехитрые пожитки в обшарпанный баул, он втиснулся в переполненный железнодорожный вагон. На верхней полке среди чужих узлов и чемоданов терпел стойко неудобства, а дымный паровоз с воспаленным чугунным лбом мчал на всех парах, стуча колесами, в манящее грядущее, в шумный город, где должны были сбываться пылкие мечты.

Правда, ко времени его поступления в физкультурный институт шест из бамбука был уже вытеснен быстротечной модой. На спортивных аренах золотистую грёзу сменила металлическая, из какого-то дюралюминиевого сплава, труба, освоение прыжков с которой у новичка, к слову сказать, как-то сразу не заладилось. Комплекция, по-видимому, не вполне соответствовала новой технике прыжка, и скоростных данных не доставало. Особо отличиться в турнирах так и не довелось.

Впрочем, и труба вскоре дала, как говорится, дуба – приказала долго жить. Стремительный прогресс заморской химии измыслил новый диковинный продукт с вычурным названием – «фиберглас». Эластичный, он изгибался в дугу и выбрасывал на значительно большую высоту, чем его предшественник. Уж каким образом нашему спортклубу удалось разжиться этой диковиной, непостижимо, но однажды Константин Петрович с заговорщицким видом отозвал меня в сторону, сказал вроде невозмутимо, а голос против воли внезапно дрогнул: «А что... Давай попробуем!..»

Хотя самому Константину Петровичу не доводилось прыгать с заморской сноровистой катапульты, он обложился иностранными журналами, достал с книжной полки словари, штудировал дотошно все теоретические выкладки в публикуемых статьях, обзавелся множеством кинограмм, изучал их с усердием ученого и стал одним из ведущих специалистов в этой области. Он научил меня прыгать с шестом, и это умение порой делает меня счастливым человеком...

За судейским столиком секретарша, склонясь над протоколом, выкликает мою фамилию, и я вновь выхожу в сектор. Стремительно разбегаюсь и с первой попытки, с солидным запасом беру высоту. Выбираясь из груды поролоновых матов, я поглядываю на трибуну, где сидит Константин Петрович, и на языке жестов он показывает, что всё нормально, так держать. Я принимаю из рук судьи свой шест, а ощущение у меня такое, словно прикоснулся ладонями к тому золотистому, с глянцевитыми наплывами колец бамбуку...

Сквозь хрипы в зычные репродукторы по стадиону разносятся первые сведения, поступающие с марафонской трассы. Впереди, сообщалось, большая группа бегунов. Следовал длинный перечень знаменитых фамилий, одно упоминание которых внушало почтение и невольный трепет. Действительно асы! Оно и к лучшему, что среди претендентов на чемпионский титул Ольхов не значится. Бремя славы не гнетет, не давит. Иногда бывает, лучше держаться в тени. Когда конкуренция велика, накал страстей всё острее, сюжет борьбы порой складывается до банального просто: темп возрастает и тают ряды авангарда. Тают лица, обозначая всё резче скулы и подводя под глазами черные круги, и незаметно исчезают из числа фаворитов, смирясь с неумолимостью доли...

Я надел шерстяной тренировочный костюм, чтобы разогретые мышцы не застывали, прилег на зеленую траву футбольного газона, а тут Шумов-Корабельский подходит, вращая тускло унылыми зрачками. Он не взял начальную высоту, получил, как говорится, баранку. Полновесный ноль зачетных очков. Чем тут

утешишь? Как предчувствовал неуспех, так всё и случилось. Или пораженческим своим настроением предопределил исход? В жизни, между прочим, сплошь и рядом так происходит. Дашь себе негативную установку, а потом расхлёбывай. Он молча прилег на траву рядом со мной, и я молчал. Негоже расхолаживаться, тем более – борьба в секторе вступала в решающую стадию.

Поначалу почти все участники дружно брали высоту за высотой, а потом поднятая планка стала как замороженной. Ретивые соперники, словно сговорившись, принялись сбивать её раз за разом. После неудачи судья вновь приглашал в сектор, и бедолагам, не передохнув, приходилось выходить, как на заклятие. Кто скрежетал зубами, свирепо играл желваками, кляня свою незадачливость, кто нашептывал заклятья, настраиваясь на боевой лад, взывая к тайным неисповедимым силам. Но что-то, сломавшись в прыжке, вновь приводило к неудаче. Планка вновь слетала со стоек под сокрушенный вздох сочувствующей публики.

Вскоре в секторе остались лишь двое – я да тот рослый парень из Перми, что, преисполненный учтивости, спрашивал у меня соизволения пригласить на танец Марию. По крайней мере, второе место каждому из нас обеспечено, но предстояла самая бескомпромиссная борьба за пальму первенства, пуская в ход, как водится, тактические хитрости и уловки, именуемые игрой нервов, чтобы улучшить момент для нанесения решающего неотвратимого удара.

Просчитав возможные варианты, одну из высот я пропустил, чтобы сэкономить силы и пытку, а соперник, хочешь не хочешь, вынужден был атаковать с первой позиции.

Следует отдать пермяку должное, он проявил себя в этой сложной ситуации молодцом – взял высоту, как принял в дар жертву ферзя, и стал наблюдать со стороны в роли бесспорного лидера. Теперь уже я с позиции догоняющего должен был не утратить уверенности, обязан был не дрогнуть, ни в коем случае не спасовать...

Я вновь выхожу в сектор. Стойки ещё более вытянулись из своих тонких штативов, подросли, и невесомая платка замерла на головокружительной высоте, а я, покачавшись пружинисто на носках, начинаю разбег. Скорость с каждым шагом возрастает, и я хмелею, просто захлестывает сладкое чувство, когда всё получается, когда чувствуешь, что в форме, шаг упруг, мышцы легки, послушны, и всё подвластно – и скорость, и судьба.

Я зависаю на конце шеста, изгибающегося дугой, с наслаждением рискованного куража держу паузу, ожидаю, пока изогнутый в содрогании жестоком шест выбросит меня, как из пращи, в синь поднебесья. Но что это? Раздался какой-то непонятный хлопок, послышался сухой резкий треск. И вместо желанной лазури и высей я стал куда-то проваливаться, падать.

Кто-то пронзительно закричал на трибуне. Тут я понял, что произошло... Я просто падаю, но не на мягкий поролон матрасов, а прямо на дорожку. На жесткую твердь. Лишь в последний момент каким-то чудом удалось сгруппироваться, совладать с собой. Глухо шлепнулся, перекувыркнулся, ощутив от удара острую боль в спине.

Зрители на трибунах как из одной груди выдохнули тяжкий вопль. Вот уж несчастье из несчастий! Строптивец мой, своенравный джинн, что, оказывается, учудил, измыслив способ выместить свою дикую необузданность норова, пусть

даже ценою собственной гибели всерьёз. Изогнувшись дугой, он попросту лопнул от чрезмерных усилий на изгибе...

Медицинская сестра в белом халате с поблескивающим на солнце никелированным биксом бежит трусцой, пересекая футбольное поле наискосок, торопится на помощь с бинтами, с зеленкой, с состраданием. А я, расширив от невыносимой боли зрачки, лежу, как сраженный на поле брани, одинокий, безутешный, и всё падаю, падаю, да не на привычные поролоновые маты, а отвесно, прямо оземь и в ушах от удара стоит пронзительный звон...

Рассказ двенадцатый МЕДОВЫЙ ВЕТЕР

Всё же накатывает непрошенная грусть, стоит подумать, что старое приземистое здание типографии пойдет на слом. С какой вроде стати тужить, если ветхости всюду приметы, половицы вышарканы от бесконечных хлопотливых снований, тихий сумрак веков тaitся по дальним углам, и не спасают включенные даже днем голубоватые тубчатые лампы неоновомого освещения? Уж так издревле заведено: что приходит – минует, потускнеет, согбенно ссутулится, станет небьелью, прахом. Но смущают странным волнением потемневшие балки, что хранят лихой взмах топора былого сноровистого мастера, выкрутасы узоров на карнизах и наличниках приковывают взор, и кирпичная кладка, обнажившись стыдливо из-под ломтя отвалившейся штукатурки, поразит добротностью, любовью к ремеслу и порядку, почтением собственного достоинства. Разве нынешним каменщикам чета? Посмотришь на растущие день ото дня стены нового, возводимого по соседству корпуса наборного цеха, и явно не в пользу окажется сравнение. Кирпичи в рядах как-то вкривь да вкось, цементный раствор в подтёках, неровности в зазорах, словно абы как и наспех трудилась рука, словно одна неистребимая халтура стала знамением века, и скулы воротит от позовоты подневольных трудов, когда не ради славы, а одним лишь побуждением насущного жив человек.

В стойком упорстве постижения премудрых наук полиграфии, пылкое увлечение которой от скуки сухих расчетов, дотошных «пунктуальностей» не остывало, а завладевало сильней, промелькнула обычно долгая, нескончаемо долгая зима. Даже надоест не успела трескучими морозами, грузными сугробами, как осел, потемнел от накопленной сажи снежный наст, как нависшие наледи с крыш стали хрусталем сосулек, и зазвенела, посыпалась разудалая капель, сверкая жемчугами на ярком солнце.

С первым дуновением весеннего ветра заскрипели, задвигались древние реалы, заскрежетали в насадах, как от старческой подагры в суставах, засобирались на новоселье. Рядом с приземистой одноэтажной типографией, будто вросшей бревенчатым срубом в землю, взметнулись стены первой очереди нового корпуса. Мы принялись ворочать массивные шкафы, грузить почтенную мебель, линотипы, верстальные станки на электрокар, который вёз их к платформе подъёмника, а уж та, взлетев на уровень второго этажа, замирала напротив ниши коридора, зиявшего, как рассеченное брюхо коняги барона Мюнхгаузена. Таким образом, оборудование, минуя лестницу, сразу оказывалось в новом просторном цехе, наполненным солнечным светом. И темные древние реалы словно напоминали новоселов из дремучей провинции, что оробело шурились от изобилия лучей, проникавших в

огромные окна, оторопь охватывала с непривычки и даже некоторая неловкость, как, мол, заново начинать жить, привыкнув к убогому нищенству, урезонив запросы неприхотливостью. И мы похоже шурились, то впадали в безудержное веселье, то предавались невольной меланхолии, расставаясь с дорогим сердцу пристанищем, где делались наши первые трудовые шаги.

Перепады в настроениях Даньки Ольхова имели ещё и другое, весьма затейливое объяснение. О причинах он, понятно, не любил распространяться, отвечая на расспросы уклончиво, словно речь шла о какой-то страшной тайне, хотя, разумеется, я догадывался, в чем причина, что за повод для секретов. Думая о Веронике, пылкое воображение мечтателя рисовало с риском впасть впросак весьма дерзкие картины. Как он приблизится, заглянет девушке в глаза, как рассыплется в руладах цветистой речистости, свидетельствующей об уровне интеллекта, начитанности, об изысканном вкусе, подлинным подтверждением которому был сам выбор предмета обожания. Разумеется, пылкое воображение потому и было пылким, что не могло ограничиться лишь словесными реляциями – шло, будучи последовательным, дальше. Как он возьмет её за руку, как совершит поступок, куда более отчаянный, безумно дерзновенный, – пригласит девушку в кино...

Впрочем, именно тут обнаруживалось, что сравнение с шаровой молнией хотя и было невольной метафорой, но осенило отнюдь не случайно. Стоило Даньке сделать шаг навстречу, вернее, стоило только подумать о первом, предстоящем шаге, как лицо его вспыхивало, окрашивалось до корней волос в багровые, самых неприличных оттенков цвета. Лоб покрывался испариной, лоснился, движения становились неуклюжими, заторможенными, как и движения мысли, которые буквально цепенели, делались неловкими, скованными, и сам он столбенел от растерянности, точно становился каменным истуканом. Хотелось нагловатого блеска в глазах, хотелось выглядеть разухабистым, раскованным, как некогда бывало, когда, выверяя меткость глаза и сноровку умелой руки, швырял камни в ночные уличные фонари. Но, едва завидев издалека роковую особу, что в четверг переступала порог наборного цеха, он вдруг опешит, словно от электрического удара, затем принимается носиться, разметав полы халата, как угорелый с верстаткой в руке. А стоило зарониться в голове отважному намерению, разом сникал, ноги отнимались, язык деревенел, в глазах стыл, как пламеневший закат, дикий безумным испуг..

Летело, будто насвистывая незамысловатый мотивчик, время. Загромыхали, заклацали веселыми клавишами, обживаясь на новом месте, линотипы, верстальщики вновь сновали от кассы к кассе, но уже не привычными стезями вышарканных половиц – по гладкому линолеуму, будто беспечные фигуристы на катке, прикрутив коньки. Нас же из разряда разборщиков газетных полос перевели рангом повыше – изучать премудрости ручного набора. В мелочном цехе, как называлось это производство, мы корпели над различными формами таблиц, бланков, анкет, пригласительных билетов и, увлеченные новым занятием, не замечали времени.

Уже майский тополиный пух кружил в воздухе, устраивал за окнами невообразимую вьюгу, а Данька Ольхов всё не мог одолеть своей робости. Нужно было на что-то решаться, ибо не за горами лето, горячая пора летних отпусков и новых экзаменов, и неизвестно, какие перемены в судьбе они принесут, какими могут обернуться зигзагами.

Теперь по четвергам, в день, когда в наборном цехе версталась многотиражка, где работала Вероника, Данька Ольхов после окончания трудовой смены подолгу слонялся вокруг типографии, поджидал, бросая в сторону парадного подъезда нетерпеливые взгляды. Смена тактики объяснялась просто. Поскольку причина нерешительности крылась в бесцеремонности приятелей, оценивавших с нескрываемым ехидством его попытки, безуспешные порывы к решительным действиям, то лучше держаться подальше от соглядатаев. Он кружил вокруг типографии, бросал взгляды в сторону дверей и ступенек парадного подъезда, переходил на троллейбусную остановку, куда обычно выходила Вероника и где, понятно, проще подыскать повод для знакомства, найти нужный предлог, который не покажется вычурным...

Так представлялось, и план воодушевлял легкостью воплощения. Но не тут-то было! Мы заканчивали работу намного раньше, чем газету сверстают и подпишут к печати, поэтому томиться приходилось долго. Храбрился час-другой, рисовал в воображении дерзновенные картины, но, кружа, с неумолимостью ощущал, как от долгого ожидания угасает пыл, чем ближе был решительный миг, тем меньше оставалось отваги. Мнительности принимались терзать, достойно ли сумеет себя показать? В том ли ракурсе, в том ли блеске? Найдёт ли нужные слова? Понятно, всё заканчивалось позорным бегством, сочтя временное отступление куда меньшим злом, чем предстать размазней, тупым, мямлей. В другой, мол, раз подготовится, блеснет даром красноречия, покажет себя во всей красе. Однако на следующей неделе всё, разумеется, повторялось, возвращалось на круги своя, как заезженная пластинка, бывает, застрянет на одной досадной ноте...

В конце концов расчет на счастливую случайность вполне оправдался. Он оправдался к совершенному ужасу Даньки Ольхова, который, как повелось, покружив некоторое время вокруг типографии, помявшись в нерешительности на троллейбусной остановке, намеревался было по обыкновению ретироваться, но тут неожиданно увидел Веронику. Газету, должно быть, подписали раньше срока, или ещё какая-нибудь поспособствовала оказия, но девушка уже направилась на остановку, и отступить было некуда. Во всяком случае достойного предлога трудно было измыслить, и он метнулся к троллейбусу.

Ольхов втиснулся в переполненный салон, остервенело толкался локтями, навлекая недовольства и попреки скандальных пассажиров, но сумел приблизиться к надменной особе, которая, конечно, не обращала на него ни малейшего внимания. От грохота колотившегося в груди сердце он не расслышал собственного голоса, выдавив хриловато и без признака какой-либо оригинальности:

– Позвольте, я вам возьму билет?

– Что? – Девушка обернулась и будто не расслышала в голосе учтивости, грозно сдвинув брови.

– Вы, верно, не узнали меня? – сообразил Данька. – Я в газетно-журнальной типографии работаю. В наборном цехе.

– Ах, вон что! – сказала она и великодушно защелкнула извлеченный было из сумочки кошелек.

Данька чуточку приободрился, восприняв снисходительное согласие как знак благосклонности, засуетился, оплачивал проезд, затем несуразно вертел два билета в пальцах, пытаясь достойным образом продолжить разговор, избрав, понятно, тему близости профессиональных интересов:

– Раненько... гм... вы нынче освободились. Должно быть, досрочно подписали газету к печати?

– Да, так порой бывает, – согласилась девушка. – Удачный выдался день.

В голове у Ольхова все приготовленные заранее темы разговора, усыпанные блесками отменного остроумия и красноречия, прокручиваемые множества раз как затверженный урок, теперь провалились куда-то, всё неслось кувырком, вызывая панику и отчаяние. Даже во рту пересохло от этого чудовищного кошмара. Силился что-то припомнить, но безуспешно, оставалось лишь уповать на какую-нибудь выходку, вроде самой безыскусной откровенности:

– Признаться, – пробормотал он растерянно, – мне жаль старой типографии. Там было ветхо и сумрачно, но едва вы переступали порог... Понимаете, это явление трудно объяснить словами, но всё буквально вспыхивало, озарялось...

Девушка удивленно вскинула чуть вздернутый, как у зазнаек, нос:

– А теперь что? Не светит?

Откровенное признание требовало пущего простодушия и безыскусной правды:

– Конечно, светит... Просто мне кажется, что вы скоро уедете...

– Вполне возможно, – сказала она уклончиво и стала пробираться к выходу.

Даниил, воодушевленный собственным откровением, пусть выраженным в столь иносказательной форме, но понятным без каких-либо двусмысленностей, как шитым белыми нитками, устремился следом.

– Позвольте, я вас провожу?

– Нет, – сказала она резко, как отрезала, и добавила в той категоричной, безапелляционной форме, чтобы отказ камня на камне не оставил ни для малейшей иллюзорной надежды: – Никакой в этом нет необходимости...

И зашагала прочь, чуть приподняв острый подбородок, словно глядяваясь в далекую, маячившую где-то за чертой горизонта цель, и каблучки её звонко стучали по асфальту.

Ольхова толкал сновавший вокруг озабоченный люд, кто выходил из троллейбуса, кто суматошно устремлялся на посадку, а ему некуда было больше спешить. И терзаться более нечем, ибо расставлены все точки над «и»...

Он тупо смотрел вслед удалявшейся надменной особе, точно раздавленный, развенчанный, испепеленный. Всё, чего он мучительно опасался в своей мнительности и преувеличениях, то и случилось. Просто он ей не интересен. Бывает! Что поделаешь? Кто он такой, чем примечателен? Прежде хоть и скромными, но мог похвастать спортивными результатами, а теперь что? Эгоцентризм, которому он объявил бой, выкорчевывал в себе, истреблял с беспощадностью, разумеется, непригляден. Возомнить себя пупом земли, носиться с собственными прихотями и своеволием в ущерб другим – какая жалость, убожество, сущая непристойность. Но, отмежевавшись от сомнений, от гордынь заносчивой кичливости, не впал ли он в иную крайность? Не истребил ли в благом пылу рвения что-то единственное и неповторимое, без чего человек не более, чем пустое место... Человек, известно, существо цели, а, отрекшись от возжеланий и самостроительства, не лишил ли себя собственноручно божьей искры, в которой таится суть земного предназначения? Если взглянуть на себя беспристрастно, как бы со стороны – безликая песчинка он, каких несметное множество, заурядная, ничтожная малость, просто серость. Положа руку на сердце, он должен быть признателен за нелицеприятную оценку, за правду и предметный урок...

Всю неделю он ходил мрачнее тучи. На наши расспросы лишь пожимал плечами, отмахивался, отвечая односложно – ничего, мол, особенного. Мы поглядывали сочувственно, смутно догадывались о причинах его переживаний, но ничем не могли помочь. Честно сказать, заносчивая, спесивая девица не вызывала наших особых симпатий. Уж каким образом она могла очаровать горемыку – не укладывалось в голове. Пусть помучается, может, пойдет на пользу, поймет, как это неразумно следовать на поводу у чувства, быть безвольной, послушной игрушкой.

Зато ход суждений нашего приятеля, покружив, покуролесив замысловатыми зигзагами в извилинах головных полушарий, самым непредсказуемым образом привел его почему-то к давней забытой тетрадке, разграфленной колонками, куда вносились личные достижения поклонника королевы спорта. Так, по-видимому, стойко утвердилось в мыслях представление о простом доступном способе самосовершенствования, целеустремленной последовательности на путях восхождения, когда каждая новая запись, отличающаяся от предшествующей пусть на самую малость, являлась ступенькой, что сродни виткам диалектической спирали...

Данька засел сочинять длинное послание, полное сумбура, мучительных оправданий, тшась истолковать постороннему, весьма скептически настроенному человеку замысловатый ход собственных суждений, хотя смысл объяснялся довольно просто, той надписью на конверте, призванной в помощь цитатой классика поэзии серебряного века: «Лист широкий, лист банана...».

Он склеил из плотного ватмана пакет, вложил листок с витиеватой мольбой, затем скрепил для пущей важности, как это было принято во времена рыцарства, расплавленным сургучом, сделав на кляксе оттиск гербовой стороной монеты, и вывел отчаянный росчерк: «...помоги любви и вере».

Ну, а в качестве доверенного лица для деликатной миссии, наделив особыми полномочиями по исполнению ответственного поручения, избрал мою персону...

Я спустился по лестнице этажом ниже, где находилась корректорская, постучал в дверь, затем, заглянув, поманил в коридор Веронику, склонившуюся за столом над чтением оттисков гранок верстаемой многотиражки.

Она, не скрывая своего удивления, поднялась, вышла, а я, вручая пакет, исполнился невольного пафоса, вполне оправданной для такого случая загадочной многозначительности.

– От кого это? – спросила она недоуменно, разглядывая сургучные печати.

– Ну... – повел я плечами, несколько обескураженный её недогадливостью. – Вам, вероятно, лучше знать.

Тут, к сожалению, обнаружилось, что наш юный поклонник, тайный воздыхатель, хотя страдал, изводился от робости, но собственного имени до сих пор не удосужился сообщить предмету обожания – ничего оно ей не говорило. Следовало срочно найти какой-то выход из неловкого положения.

– Пока вы будете читать, – предложил, – я вам автора пришлю, пусть сам пояснит и прокомментирует при случае, если в чем загвоздка.

Я помчался в наборный цех, схватил Даньку за рукав рабочего халата, потащил его вниз по лестнице. Он упирался, пытался даже обратиться в позорное бегство, но не тут-то было. Уж коль заварил кашу, то нечего отнекиваться, расхлебывай, будь любезен, до конца.

Подвел его к девушке, она подняла от листка глаза, по выражению которых было ясно, что чтение корявых строк, исписанных рукой Ольхова, не только ничего не разъяснило, но, пожалуй, лишь усилило недоумение:

– Довольно странная просьба. Чем она, собственно, продиктована?

Данька густо покраснел, промямлил что-то невнятное:

– Понимаете, человек – существо цели... А у меня нет цели... Для меня это важно... Очень важно...

В голосе его была такая искренняя мольба, что девушка несколько смягчила резкость интонации:

– У меня нет с собой фотографии.

– Пусть какое-нибудь маленькое фото, – выразил готовность Данька, а я добавил:

– Недавно мы пропускали меня. Разве не осталось фотокарточки?

Она скользнула в корректорскую и вскоре вернулась.

– Другой не нашлось... Это я на заграничный паспорт фотографировалась, когда прошлым летом в Болгарию ездила по туристической путевке. Устроит?

– Вполне!.. – просиял Ольхов.

Он выхватил из верхнего кармана халата шариковую ручку и с весьма неосмотрительной торопливостью начертил клятвенную надпись о том, что спустя пять лет станет чемпионом. И ещё какую-то приписку сделал, которую я не вполне разобрал, поскольку он показал её только Веронике. Прочитав надпись, она чуть смутилась, даже щеки порозовели, взяла у Даньки ручку и широким размашистым жестом сделала приписку: «Поживем – увидим». Разные можно было строить на этот счет досужие домыслы и предположения, но факт остается фактом, отныне жизнь моего друга, Даньки Ольхова, была накрепко связана со столь опрочечивым зарокотом...

Что можно было сказать по поводу той юношеской клятвы? Конечно, её могла постигнуть обычная участь пылких заверений, которые с безоглядностью расточаются от щедрости незрелых лет и которым, как правило, несть числа. Объявившись погост, где эти обещания предавались бы покою с трогательными надписями на обелисках и гранитных плитах, то на земле, верно, не осталось бы и свободного места. Так уж повелось... Но, повздыхав, посожалев светло о недолговечности подобного рода обещаний, следует сказать без затей: с той поры Даниил Ольхов не оставлял усиленных тренировок.

В пять утра прозвенит будильник, когда сладкий сон будто непомерная глыба, которую, сдается, не сдвинуть никакими усилиями, навалившись, раздавливает тяжестью любые легкомысленные намерения, что расточались щедро накануне, не оставив от них и следа, однако Данька отринет рывком одеяло, натягивает тренировочный костюм и оказывается на улице. В дождь, слякоть, в трескучий мороз, когда ни зги, ни намек на проблеск рассвета, и случайный, нахохлившийся прохожий лишь одарит вслед угрюмой ухмылкой – ну и дела, какими причудами только ни маются люди. А упрямый бегун непроницаем и невозмутим, ибо, что и говорить, самому порой не очень-то и хочется надсаду эту терпеть, но снисхождения к себе, мягкотелой поблажки ни под каким видом не допустит, в любом случае одолеет не менее десяти километров.

Потом ещё в наборном цехе весь день на ногах. То с верстаткой носится от кассы к кассе, чтобы набрать заголовков, то за гранкой линотипного набора бежит

стремглав, поскольку осваивал с недавних пор журнальную верстку. Конструировал по макету каждую страницу, вычурными рамками украшал, затачивая на специальном приспособлении аккуратные углы. Обвяжет готовую форму шпагатом, на бумажную подстилку поставит, громоздя одна на другую, пока шестнадцать не наберется в ажурной колонне, как полагается для печатного листа. Так бы, думал порой, и себя строить. Букву за буквой, строку к строке, за одной страницей – другую. Всё мудреное – просто, и нечего терзаться, унынию предаваться, в панику впадать и в упадничество безнадеги – вот уж нет занятия никчемней!..

Вечером основная нагрузка. На беговой дорожке стадиона «Спартак» или в аллеях рощи, а ещё лучше – по холмам предгорий, по едва приметным тропам, а то и вовсе по бездорожью, но так, чтобы не менее двадцати километров отмерить. Измочаленный донельзя – майку от пота хоть выжимай, от усталости ног под собой не чувствует, а на душе зато растёт смутная гордость – всё одолел, превозмог. Вроде крепостью духа вправе гордиться, прибавкой стойкости, а назавтра всё сызнова повторяется. И тяготы раннего подъёма, и лень, и неохота, и наваливающаяся усталость. И всё вроде одолеет, переступит через все «не могу», однако видимых результатов, каких-либо примет чудесных метаморфоз нет как нет, вот уж где в пору отчаяться, махнуть на всё рукой...

Опасения, подсказанные смутными предчувствиями о больших грядущих переменах за время летних отпусков, полностью оправдались.

Я поступил в университет на филологический факультет, решив, что терзания в выборе житейских дорог могут во времени растянуться до бесконечности. Разумнее, не откладывая в долгий ящик, приступить к серьёзному изучению словесности, по крайней мере, сам предмет вполне этого заслуживает.

Вероника уехала в Москву, она поступила-таки на факультет журналистики в университет. Как бы ни были непривлекательными спесь и заносчивая гордыня, но упорство, стремление добиться поставленной цели не могут не вызвать почтения...

А ещё год спустя Даньку призвали в армию. Вроде не должны были по болезни матери. Оказывается, это он сам напросился. Что подтолкнуло к такому неожиданному шагу, чем было продиктовано странное желание, ничего я толком не мог сказать. Так уж закружила мной круговерть новой студенческой жизни. К тому же семейство моё осуществило давно вынашиваемый план – сменить место жительства, мы переехали в другой район города, и двор нашего детства навсегда остался для меня в той безоблачной славной поре.

Проявляя озабоченность по поводу достижения высоких спортивных результатов, тренер Ольхова договорился о включении своего подопечного в состав спортивной роты – чтобы имел больше свободного времени для тренировок и побольше в соревнованиях участвовал за армейский клуб. Явился Даниил, как надлежало, на призывную медицинскую комиссию, всех врачей обошел, поражая отменными показателями по здоровью, затем предстал перед авторитетной комиссией. Тут и обнаружилось, что никакой заявки на его персону в военкомат не поступало. «Как же так? – растерялся Данька. – Должна быть!..» «Ничего нет, – пожал плечами председательствующий полковник. – Рассмотрим на общих основаниях».

Данька помчался выяснять причину несуразности в военный городок, где была расквартирована спортивная рота, но там тоже только пожимали плечами.

Командир, с которым была договоренность, укатил, оказывается, скоропалительно в отпуск. Нежится теперь на горячих песках пляжа, а кроме него про договоренность никто толком ничего не знал...

Данька поехал оформлять увольнение с работы, и первой, к кому бросился в наборном цехе, была Полина.

– Представляешь, меня в армию забирают, – сообщил ей с ходу.

И потому как она ойкнула, как всплеснула руками, будто раненная шальным выстрелом птица, и как зрачки глаз её беспомощно расширились, в мозгу у Ольхова почему-то пронеслось внезапным вихрем: «Куда, спрашивается, глаза у него смотрели? Всё терзался, маялся, о чем-то несусветном размышлял, чтобы не понял никто, а чего-то главного как и не замечал... Как когда-то не замечал, проходя мимо, цветущего снопа сентябрюшек».

– Не война же... Что ты?

– А как же мама твоя? – прошептала, едва шевеля губами, девушка.

– Об этом я и хотел попросить... Присмотри, пожалуйста... А может, у нас поживешь?.. Всё-таки лучше, чем в общаге.

Ольхов полагал, что местом службы ему определят типографию в какой-нибудь военной газете, поскольку ручной наборщик относится к числу воинских специальностей – очень нужных для выпуска газеты в полевых походных условиях. Однако против ожидания он оказался высоко в горах на пограничной заставе...

С овчаркой по кличке Фея много и усердно бегал, не оставлял, выходит, усиленных тренировок. В марш-бросках, в общефизической подготовке неизменно верховодил, вызывая почет товарищей, благо, до маленькой заставы не докатилась дурная волна, именуемая дедовщиной. В задержании нескольких лазутчиков участвовал. По узким тропам скалистых круч, где каждый шаг дается с трудом, а бегом – тем паче, носился с неутомимостью. Собака, бывало, упадет под куст, вывалив алый язык, а ему хоть бы хны. Даже порадует в душе, разве довелось бы потренироваться в условиях высокогорья, да ещё в сапогах и с боевым комплектом, ни окажись он в этих трудных обстоятельствах. Ни под каким видом не выпала бы подобная привилегия. Однажды в медпункте взял трубку прибора, дунул в неё, а у прибора под изумленные взоры сослуживцев алюминиевая ёмкость вылетела до предела – отменным оказался объем легких.

И там, высоко в горах, где голова словно упирается в лазурный купол, до ослепительно снежных пиков рукой подать, оглянешься вокруг, как по ущелью тонкой извилистой нитью вьётся река, катит свои бурные воды за сизоватую дымку в долину, и что-то подступит к горлу, перехватит дыхание – Родина. Там она, за сизой далью...

И вспомнится, как мама и Полина провожали его в аэропорту, как огромный лайнер стоял наготове перед взлетной полосой, а они с зареванными лицами причитали в голос...

Двор вспомнится. Шелест тополей в полуденное пекло, прохлада подъезда, где мальчишками, разложив альбомы на бетонных ступенях лестницы, малевали акварельными красками свои первые робкие сыновние признания...

И журчание арыков вдоль улиц припомнит, и неумолчный, колоритный гомон восточного базара...

Мама сейчас, наверное, склонилась над чертежной доской. Она пишет, чтобы не беспокоился, здоровье её пошло на поправку, правда, на улице старается не

выходить. Молодежь картпредприятия приносит ей работу на дом, да и Полина во всем помогает...

Если вообразить обрамленный яркими желтыми лепестками подсолнух, развернувшийся в веселой прелести золотистых веснушек, то сразу и лицо её вспомнится...

Линотипы в наборном цехе грохочут, верстальщики спуют, а среди них особой статью выделяется девушка в синем, всегда отутюженном свежем халате с неизменной верстаткой в руке. Молодые дежурные литсотрудники то и дело поглядывают на неё, не скрывают восхищения, вьются, гудят шмелями, расточая комплименты, а она ничуть этому не удивляется, воспринимает как должное...

Среди ночи Даня Ольхов, бывало, проснется в казарме, лежит с открытыми глазами и вдруг улыбнется в темноту. Сам не поймет, с какой стати? Тут только спохватится, что это ему веснушчатое лицо хохотнуло, прыснуло смешком и умчалось прочь, разметав волосы в золотистых переливах. Голос словно звенит в зените на высокой простодушной ноте, внезапно зноем пахнет, будто обдаст душевной волной, и ветром повеет медовым.

Рассказ тринадцатый

БЛАГОСЛОВЕНИЕ ХРАНИТЕЛЯ ДРЕВНОСТЕЙ

Самый первый, написанный мной рассказ я отдал в руки Хранителя древностей.

Наш город был знаменит чудаками и гениями. Изобилие это объяснялось отчасти тем, что огромная страна выдавливала неугодных строптивцев куда-нибудь подальше, на окраину – в ссылку, как некогда говорили, – а климат у подножья высоких гор и почва оказались, по-видимому, на редкость благодатными...

Когда бывший московский студент, отчисленный после первого курса за записку крамольного содержания, пусть и не ему принадлежавшую, но найденную в общежитии у него под матрацем, прибыл стальной магистралью Турксиба к месту назначения, и, поскольку было раннее утро, он отправился пешком через весь город. Что особенно его удивило: всё было в цвету. Цвело всё, что только может цвести. Всё тонуло в цветущих садах, восходящих террасами, и из этой цветущей пены ввысь вырывались лишь говорливые тополя и сизые горы, похожие на раскинувшиеся в полете огромные крылья...

Жизнь изгоев и правдолюбцев была скудна на события, на достаток и материальные блага, зато богата откровениями, провидением, чрезвычайно богата на муки и радость, которыми с неизменной щедростью одаривает творчество. Они писали книги, диковинные картины, создавали из коряг необыкновенные скульптуры. Они были бы счастливейшими людьми, кабы не одно досадное обстоятельство: книги не печатали, скульптуры и живописные полотна мало кто видел – на всем лежал лиловый оттиск табу. В конце концов обделенными оказались те, кому достояние это по праву принадлежало и кому адресованы были пророческие предостережения о полном, неминуемом общем упадке из-за потери – даже частичной утрате – культуры.

Это уже потом, после смерти, их настигнет слава, они станут памятниками каких-то ископаемых, как археологические древности, свойств – неуниженное человеческое достоинство, совесть...

Но в ту пору лучезарный венец не венчал чело Хранителя древностей, и то, что рука, написавшая знаменитые книги, взяла мой рассказ, было чистой случайностью без какой-либо символической подоплеки. Впрочем, случайность тоже имеет свою причину, которая, как правило, незрима, не разглядеть на близком расстоянии...

Пристрастившись к писанию разного рода репортажей, зарисовок, куцых информации с места событий, я неизбежно, шаг за шагом приближался к тому моменту, когда захочется чего-то более крупного, и молодость лет побудит по горячности замахнуть на что-то такое, что уже не вмещалось в несколько строк. И вот однажды я сел за письменный стол и, помимо неизменной информации, написал в один присест большой рассказ.

На следующий день, выдавшийся на редкость сумасбродным, пасмурным, промозглым, мне никак не удавалось вырваться в редакцию, хотя подготовленная информация вынуждала к тому, иначе заметка теряла свою актуальность. Лишь под вечер я оказался у здания, наискосок от которого нынче находится ЦУМ, а в те времена зиял лишь вырытый котлован за дощатым забором. Перед тем как подняться на второй этаж и отдать там свою информацию, я заглянул в редакцию газеты «Дружные ребята», находившуюся на первом этаже...

В жарко натопленной комнатке старинные письменные столы, обитые зеленым сукном с живописными фиолетовыми кляксами чернил, грудились в невообразимой тесноте, впритык друг к другу. Кипы писем, рукописей высились, как терриконы, а за ними, пригревшись у батареи, стоял высокий мужчина. Почему-то я внезапно разволновался.

– Я тут написал кое-что, – произнес чуть дрогнувшим голосом, обратившись к мужчине, приняв его за одного из сотрудников. – Можно вам оставлю...

– А что это такое? – поинтересовался он.

– Рассказ, – сказал я, не слыша собственного голоса.

Мужчина взял исписанные мной листки, посмотрел на них, полистал, пробежав по строкам глазами, затем принялся пристально разглядывать меня.

– Вот вы какой забавный народец! – произнес он.

Я ещё более растерялся, не мог понять, что, собственно, означает эта загадочная фраза и как она ко мне относится, торопливо выхватил из кармана листок с информацией, пояснил:

– Тут у меня ещё есть заметка... В редакцию, что над вами...

И стремглав выскочил.

Много позже, по фотографиям, вклеенным в знаменитые книги, в постаревшем человеке с морщинистой обвислой кожей у глаз я признал Хранителя древностей. Из-за извечного безденежья он принес, должно быть, какую-то рукопись в детскую газету, литературный сотрудник отправился согласовывать возникшие вопросы с главным редактором, а великий мастер просто поджидал, пригревшись у батареи.

Читал ли он мой рассказ, вступился ли за юного автора – ничего этого неизвестно. Но мне почему-то кажется, что без авторитетного слова тут, верно, не обошлось, не могло обойтись – не такое было время. В ту пору он бедствовал – старое его, изношенное пальто на вешалке служило этому веским подтверждением. Недавно вернулся из мест, не столь отдаленных, где за колючей проволокой отбывал одну из отсидок, тех, что в общей сложности займут почти четверть века

в его жизни. Объявленный космополитом, он пытался отстаивать неотделимые человеческие права, ибо свобода слова, творчества, эта сладкая, желанная свобода – не прихоть, не блажь своеволий, а условие, когда неподкупная совесть, Хранителем которой был признан негласно народной молвой, диктует строку. Правда, вставать на защиту этих прав, как выразился с присущей афористичностью отец народов, было «Факультетом ненужных вещей», и оттепель ещё только будет впереди...

Про рукопись свою я не то что забыл, но всю зиму обходил стороной редакцию, где её оставил, считая незрелой скоропалительной пробой пера, опасался – на смех поднимут, пристыдят, коль стану интересоваться судьбой. И уже весной, развернув однажды газету, обнаружил, что почти всю четвертую полосу занимает мой рассказ. С огромным заголовком. С рисунком художника. Я читал и перечитывал написанные мной строки, вдыхал запах свежей типографской краски и понимал, не смея признаться самому себе, что участь моя предрешена...

Нет, я не спешил принимать решение, не торопил событий, более того, даже последовал солидарно с Данькой Ольховым на работу в типографию, чтобы лучший советчик – жизнь подсказала выбор...

Работа в наборном цехе не оставляла свободного времени для посещений редакций газет, для сбора материалов к зарисовкам и репортажам с мест событий, так воодушевлявших ранее оперативностью публикаций. К былому увлечению я несколько охладел. Накопленный опыт с безошибочностью подсказывал, какой материал пойдет в печать, какой окажется неуютен. Угодать не вызывало особого энтузиазма. Это я уже знал со всей определенностью, и представившийся случай ещё более укрепил убежденность.

Однажды на домашний адрес мне пришло письмо, в котором приглашали заглянуть в редакцию областной газеты.

Слегка заинтригованный – зачем мог понадобиться? – в обеденный перерыв я отправился в редакцию газеты, куда ещё недавно частенько навещался. Оказывается, назначили нового заведующего отделом информации, перед которым стояла весьма животрепещущая задача – сплотить вокруг себя группу наиболее активных авторов, и кто-то порекомендовал ему пригласить меня.

Разумеется, сказанное польстило моему самолюбию, и в ближайшее воскресенье я ринулся на поиски материалов, призвав в помощь накопленные навыки и былой опыт заправского газетчика. Результатом этих усилий вскоре были опубликованы две заметки. Наиболее удачной, пожалуй, оказалась зарисовка про осенний праздник цветов, устроенный городскими цветоводами. Между прочим, Сафар, участник нынешнего марафонского пробега, товарищ Ольхова по команде, помнится, был назван мной одним из победителей конкурса гладиолусов. Он вывел несколько новых уникальных сортов и имя им дал...

Склонность моя к цветистым словесным оборотам была вполне уместна для пиришества возвращенных руками цветов и красок... Но, прочитав опубликованную заметку, я не испытал былой радости. Внутри себя, там, где берут начало мысли и чувства, я вдруг понял, что это не те слова, поиском которых томилась душа. Больше я уже не писал подобных заметок. Хотелось, конечно, поддержать нового заведующего отделом, но что поделаешь, если я окончательно убедился в своем охлаждении к газетной тематике... Много позже я узнал, что вновь назначенный заведующий столь не престижным отделом информации был писателем. Он писал

изумительную прозу, но её не печатали. Ни единой строки, невзирая на усердие и плодовитость, не было опубликовано, и в итоге он покончил с собой...

Сколько их гениальных выдумщиков слова, призванных украсить нашу жизнь, утешить всех горемычных и обездоленных, надоумить подсказкой, бесхитрым простосердечием, сгинуло, кануло в неизвестность, не оставив ни следа, ни какой-нибудь зримой приметы. Ничуть, наверное, не меньше, чем безвестных мальчишек пало на ратных полях смертью храбрых. И не утешит, не оправдывает ставшая сакраментальной фраза: «Время было такое...».

Обеспокоенность моим выбором странным образом в последнее время стала проявляться у Константина Петровича.

Нынешний сезон ознаменовался для меня завоеванием почетного звания, которым я весьма гордился – чемпион города. Миллионного города! И тренер сборной республики обратился к моему наставнику, чтобы тот прозондировал почву, не перейду ли я тренироваться к нему, поскольку учеба в университете всё равно подходит к концу. Предложение против ожидания не вызвало особых моих восторгов.

– Вообще-то у меня иные планы, – ответил я уклончиво.

– Там условия для тренировок – не чета нашим. Даже сравнивать не приходится. Можно было бы качественный прорыв совершить в результатах.

– Да, конечно, – соглашался я. – Условия, о которых можно только мечтать.

– И соревновательный сезон весьма насыщенный. Разные турниры, в том числе и зарубежные поездки.

– Весьма заманчиво, – отвечаю я.

– По силам было бы замахнуть на самые небывалые высоты.

– Хотелось бы, конечно. Ещё как!

– Воодушевления что-то маловато в голосе? – посмотрел он на меня подозрительно.

– Понимаете, нельзя объять необъятное, всегда приходится чем-то жертвовать.

– А почему, собственно, отказываться? Зачем?

Он смотрит растерянно, моргает ресницами, никак не сообразит:

– Если столько вложено трудов, а теперь, когда удача сама идет в руки, как можно отказываться?

– Понимаете, – пытаюсь объяснить, – дело в том, что я пишу...

– Я догадывался, – признается он и неожиданно смолкает, даже не предпринимая попытки убедить, сколь на редкость заманчивое предложение сделано, и в недосказанности этой слышится какая-то трагедийность интонации, он вроде и гордится мной, и в то же время не может скрыть своей обеспокоенности, она застилает ему глаза, мечется в испуге.

А перед поездкой на универсиаду разговор о выборе жизненного пути приобрел другой неожиданный поворот.

– Что это за направление в литературоведении – структурализм? – спросил меня Константин Петрович.

Я принялся обстоятельно объяснять, что субъективизм в литературоведении всегда был ахиллесовой пятой и притчей во языцех как серьёзной науки, давно назрела необходимость в привлечении точных методов. Как железные опилки на листе бумаги под влиянием магнита образуют закономерный живописный рисунок, так каждое слово в литературном произведении, каждая буква выстраи-

ваются под влиянием магнетизма автора. По этим отметинам, точно по репьям, дотошному исследователю выпадает распознать, где блуждал сам творец, чем жил, страдал, каким богам-истинам служил, к чему склонялся сиром, где угодничества не избежал, бил услужливо поклоны, а в чем выпало преуспеть в смиренной доле. Мирная алгебра структурализма способна выверить гармонию, а вы почему об этом спросили?

– Да я с руководителем твоей дипломной работы как-то на днях беседовал, он очень высокого мнения о твоём исследовании, говорит, считай, половина кандидатской диссертации уже готова.

– Нет, – говорю, – работа действительно увлекательная, буквально захватила, но у меня иные планы. Вы ведь знаете – я пишу...

Он посмотрел на меня как на совершенно безнадежного человека, который и рад бы отказаться от собственного дара, рад бы служить карьере, чинам, карабкаться усердно по ступеням служебной лестницы, просвистать жизнь, как, в общем-то, повелось среди людей, беспечной птахой, но не тут-то было...

И тогда я, кажется, понял, что имел в виду Хранитель древностей, сверля пристальным взором и приговаривая загадочно: «Вот вы какой забавный народец...»

Он, должно быть, пророчески знал, что, несмотря на запреты, препоны, трудности, всё равно в родных просторах будут выискиваться мальчишки, которые, забившись по чердакам и подвалам, голодные, униженные неприятием и невостребованностью творчества, станут кропать даже при свете керосиновой лампы, когда обступивший мрак кажется ещё непроглядней, свои нетленные, огненные письма...

Тогда я, конечно, об этом не думал, лишь с годами стал понимать, что это и было для меня благословением. Без каких-либо помпезных церемоний, но посвящением на долгую трудную каторгу сочинительства...

В тот период я уже не лез никому на глаза со своими рассказами, писал и переписывал, копил опыт, шлифовал навык, страдая и терзаясь, приходя в отчаяние от неумелости, а порой отмечая не без удовлетворения, как неуклонно и упорно всё-таки расту.

В муках над белым чистым листом бумаги я должен был ответить на вопросы, от которых никому не отвертеться. Каждый знает, что живем не так. Не так, как надо. Каждый знает, что живем, не чуя под собой страны. А как должно? Где тот край, где б не тосковалось? Где Бог? Где Божье Царство?

Я исписал столб рукописей, пока пришел к выстраданному убеждению: в странствиях земной юдоли главная у человека опора – радость, какой является душа. Преследуемая невзгодами, обстоятельствами, надменной злобой и ожесточением от несправедливости, она стремится выразить наперекор всему свое бессмертное предназначение в делах, поступках. Простая и честная эта философия, становясь позицией, часто оборачивается в жизни личной драмой, но это уже вторично.

Новая словесность – слово участия, когда одна душа стремится на помощь другой, стремится помочь ей осознать своё неразменное богатство и щедрость. В этом и хотелось бы состояться. Пусть даже в отдаленном приближении. Пусть хотя бы для одного человека. Я не ходил по редакциям, а отправлял толстые конверты своему единственному читателю – Светлане Зайкиной.

Итак, рассказ мой, бегом, бегом...

Рассказ шестнадцатый
ТРИ БОГАТЫРЯ

Среди знаменитостей, перечисленных зычными репродукторами с придыханием и переливами раскатистого эха по стадиону, особое место, конечно, занимает Сергей Парусимов. Без преувеличения можно сказать, он – человек-легенда. Правда, мало кто знает, что это Кит вернул его к жизни, в буквальном смысле на ноги поставил прикованного к койке тяжелым недугом.

Краткий миг встречи, когда пересеклись их пути, ничего не значил, мог бы оказаться незамеченным, но, с другой стороны, лишний раз подчеркнул, как воля случая, легкий пепел мимолетности может стать участием, склоняющим чашу весов.

Воскресным днем в сорокаградусное пекло Кит тренировался один на этом стадионе – готовился к предстоящей поездке на африканский континент – обливался ручьями пота, продельвая ускорения. Тут обратил внимание, что худенький паренек с упорством принялся одолевать круг за кругом в гордом одиночестве. И Никита про себя невольно отметил: «Ну, надо ж, совсем зеленый, а какой настырный. Из таких только и выходят корифеи!» «Знаменитость, а надо ж как вкалывает, – мелькнуло в голове паренька. – Чего только про него ни болтают, какого несусветного вздора ни наплетут, а уж как он работает, позавидовать можно».

На этом, собственно, и расстались. Никакого сближения не произошло, никакого, даже шапочного, знакомства не состоялось. Просто обменялись взглядами, и каждый продолжил свой путь, каждый был поглощен своими заботами, дышал тяжело, обливался обильным потом, огненные круги плыли перед глазами от раскаленного зноя.

Это уже потом в случайном разговоре Кит узнал о несчастье, приключившемся с упрямым пареньком. Он работал на стройке, неловко оступился и сорвался с лесов, не закрепленный никаким страховочным поясом. С множеством переломов, смещений костей оказался разбит параличом, и приговор медиков был непререкаем и беспощаден: никакой надежды не только вернуться в спорт, но даже отныне прыгать через лужи. Эта категоричность и задела больше всего Никиту – как можно ни единого шанса не оставить человеку, сколь б ни были плохи его дела, но надежда всё равно должна умирать последней, иначе как себя развенчать, раскиснув жалкой позорной лужей...

Он разузнал адрес, отправился разыскивать горемыку в пригородный поселок.

Долго кружил извилистыми улочками, возведенными некогда без каких-либо генпланов, путем «самостроя», методом народной стройки, именуемой задорно «нахаловкой». Упирался в глухие тупики, вновь возвращался, пока наконец не остановился у покосившейся халупы, толкнул калитку.

Старуха на визгливый лай собаки, рвавшейся на цепи, выглянула из-за угла, вскинув, будто хирург во время экстренной операции, руки, перемазанные землей – от прополки огородной грядки, должно быть, отвлек шум. Она долго тарасила подслеповатые глаза, выражала явную неприязнь, озирая незваного гостя с головы до пят.

– Опять какая-нибудь инспекция? – прошамкала беззубым ртом, но с той непреклонностью, что было ясно – палец в рот не клади. – Наша в чём вина, что

поселок в черту города включили, так сразу и живности никакой не держи? Даже кур? А как жить? Пенсия и без того мизерная – по потери кормильца, а ещё внук инвалид.

– Да никакая я не инспекция, – пытался он развеять напрасное беспокойство. – А внука как зовут? Серега? Сергей Парусимов?

– Он самый, – слегка смягчилась бабка, но не потеряла настороженной бдительности. – А вы по какому, собственно, вопросу? Из соцобеспечения? Как только не стыдно на глаза людям показываться? Приписали парню халатность, якобы технику безопасности нарушил, а потому и пенсию назначили вроде моей – сущие крохи. А за всё плати – за свет, за воду, налоги всякие, страховку на домостроение – наша-то халупа и та, оказывается, как домостроение! – и земельную ренту. Как выходить из положения, как выкручиваться? И за что, спрашивается, горькая доля? Чем мы провинились? Не обидно было б за собственные грехи страдать, а то, видать, за чужие. Ладно уж, я свой век отмаялась, об ином мечтать не приходится, как о дорожке ногами вперед на вечный покой, а с ним что станется, со страдальцем моим, когда меня снесут? Кто знает? Соцстрах? Или вы из месткома?

– Нет, – покачал головой Кит. – Просто на стадионе встречались.

– А-а... Понятно, – вздохнула она горестно. – Извините, что напустилась. Шастают тут всякие, житья нет. Хоть бы кто чем помог. Милость какую-нибудь оказал, посодействовал сердобольно. Не дожدهшься!.. Какой уж теперь из него спортсмен. Был да сплыл. Весь вышел! Лежит как чурка... Да вы проходите...

Высокий Кит, изогнувшись в три погибели, протиснулся в тесную коморку с низким потолком и затхлым запахом, возник у изголовья лежавшего на кровати горемыки.

– Привет, старина! – сказал он по-свойски будто давнему приятелю, а у того от неожиданности даже глаза округлились.

– Здравствуйте! – пролепетал едва слышно, самому не верится, что овейный славой кумир в полном блеске своего величия предстал воочию перед забытым всеми, заброшенным бедолагой. Никак не поверишь в реальность происходящего, бредом всё покажется, зноем нездоровой фантазии.

– Что ты, братец, так расписался? – спросил Никита бодро, но без высокомерия пышущего здоровьем человека, когда, как водится, не всегда разумеешь недужного.

– Да, – кисло соглашался тот. – Совсем плохи дела. Голова цела, руки целы, а сам будто живой труп. Будто замуровали заживо в склепе, ничего не остается, как медленно угасать, превращаться в мумию.

– Ну, это ты зря. Последнее дело – скисать, сдаваться на милость злой доли.

– А что остается, если приговор медицины неумолим и обжалованию не подлежит?

– Конечно, с диагнозом эскулапов надлежит считаться, но только и собственное не грех на сей случай иметь мнение, поскольку медицина сплошь и рядом зрит не причину, а следствие... Я биолог, в лаборатории своей изучаю нервную клетку, то есть глубинные физиологические процессы. Если, скажем, у лягушки отсечь мышечную ткань, истереть её в кашницу, а затем пропускать разряды электрического тока, то мышца восстанавливается. Благодаря памяти, заложенной в клетке. Можешь себе это представить, нерв прорастает, и мышца восстанавливается как

целая. Это электрический ток так воздействует, а человек – существо цели, единственное из всех живых существ, которое обладает волей. Воля человека – это посильнее разрядов электричества!..

– Звучит красиво, но не впечатляет, – покрутил носом Серега.

– Верно мыслишь, – согласился Кит. – Помимо прочего, это выдает в тебе и трезвый рассудок – непрменный компонент проявления воли. Теперь для убедительности произведем опыт...

С ловкостью бывалого экспериментатора он извлек из кармана таблетку сухого спирта, положил на блюдце, что стояло на столике у изголовья больного, чиркнул спичкой. Таблетка запылала сиреневым огнем. Далее из кармана был извлечен пинцет и, что особенно удивило, – пятак. Обыкновенный медный пятак.

– Зачем это? – спросил Серега, не понимая, что замыслил почтенный гость, к чему клонит?

В ответ Кит с загадочным видом взял пятак пинцетом, принялся нагревать его над бездымным сизым пламенем, которым горела таблетка. Вскоре медь накалилась докрасна, полыхала ярким багровым сиянием.

– Теперь быстро закатай рукав майки, – скомандовал экспериментатор.

Серега, всё так же ничего не понимая, принялся закатывать длинный рукав трикотажной майки, отвлекся, а Никита, проделав какие-то странные движения, вдруг приложил монету к оголенной по локоть руке. Понятно, бедняга завопил от дикой боли, отдернулся, а кожа, куда был приложен медяк, мгновенно покраснела, волдырь ожога вздулся.

– Ты что? – орал Серега. – Спятил? Что себе позволяешь?

А Кит прятал улыбку в уголках губ.

– Вот она, та монета, – указал он на лежавший на блюдце раскаленный пятак.

– Я ведь другой приложил, пока ты отвлекся. Вот он...

Извлек закатившуюся под одеяло монету, держа свободно её на ладони, протянул Сереге. Тот недоверчиво косился, но всё же взял – оказалось, действительно монета была совершенно холодной.

– А с чего ожог? Вон ведь какой волдырь! Никак не скажешь, что плод фантазий.

– В этом и состоит фокус. Ты просто подумал, что пятак раскаленный, поверил в это, а потому такой результат... Впечатляет?

– Впечатляет! – признался Серега, продолжая дуть на волдырь.

– А ты говоришь, что воля – ерунда. Только воля и сможет тебя поставить на ноги. Правда, прежде необходимо будет разрушить панцирь беды, истолочь тебя в кашу, как мышцу лягушки, а потом ты уже сам сможешь прорасти и воспрянуть. Три дня тебе на раздумья. Согласен?

Он порывисто удалился, а через три дня подкатил к калитке на такси и, войдя в хибару, спросил с порога:

– Ну как, надумал?

– Да, конечно, – сказал Серега без особого восторга. – Ничего другого не остается.

– Это ты верно заметил. Ни малейшего шанса, если сам себя не воскресишь...

Он завернул Серегу в одеяло, отнес его в такси, и они поехали в другую часть города. На окраине остановились у неказистого особняка, из которого вышел дремучий дед. Никита, по-видимому, договорился обо всем заранее, потому как немногословный старик показал жестом, что необходимо следовать за ним.

Во дворе стояла добротная баня, которая была уже жарко натоплена. Кит отнес Серегу в предбанник, распеленал его, затем перенес в парилку, оставив на деревянной лавке, а сам проворно выскочил наружу, едва не задохнувшись от раскаленного пара. Древний дед разделся, принялся хлестать слабое тело паренька, поддавал пару, приговаривая весьма односложно: уж потерпи, бог терпел и нам велел...

Потом знахарь, костоправ, как называли в народе, долго и противно тыкал костлявым пальцем по позвоночнику, кряхтел, что-то нашептывал, как колдовал, вновь поддавал пару, хлестал веником, несмотря на стоны сквозь стиснутые зубы задыхавшегося от пекла, багрового, как свекла, Сереги. Непреклонный дед всё поддавал жару, хлестал веником, потом, невзирая на свою немощность, дряблость старческих мышц, на удивление легко вскинул Парусимова себе на спину, принялся встряхивать, и словно что хрустнуло в исковерканных позвонках. Но не противно, а даже как-то приятно, как будто что-то встало на своё место.

– Вот так, – прокряхтел дед, довольный, и добавил грозно, как окончательное и бесповоротное резюме: – Царство божье внутри нас. Вглядишься в себя и узришь!..

Серегу вновь запеленали в одеяло, притом так туго и доботно, как лишь опытные няни проворно пеленают новорожденных в роддоме. Кит повез его на такси домой, перенес на кровать, Серега тут же уснул мертвецки и проспал почти сутки.

Проснулся он от яркого солнечного луча, что проникал сквозь мутное оконце, бил прямо в глаза. Серега долго не мог понять, где он, что с ним, собственно, произошло? Он сладко потянулся, уворачиваясь от ослепительного света, и тут, к удивлению, обнаружил, что вроде ничто не препятствует шевелиться, не мешает, как прежде разбитому параличом. Он даже не поверил в это, боялся поверить, что боль ушла, отступила, и теперь должен был заново прорасти живым, чутким нервом. Он осторожно распеленал себя, опустил ноги на пол и поднялся.

В этот момент бабка вошла некстати в комнату, она вскрикнула, всплеснула руками, её едва удар не хватил, ибо как бы ни показалось это непостижимым, но Серега стоял...

Теперь он ложился и вставал. Обессиленный столь тяжким, фантастически тяжелым после долгой неподвижности трудом, ложился, отдыхал, вновь вставал с упорством. И однажды он сделал шаг вперед, другой, затем, собравшись с духом, переступил порог...

Он увидел то, чего не видел долгое время и уже не чаял ещё когда-нибудь увидеть – синее небо в белой вате облаков и отражавшие их лужи, деревья, зелень травы. Он не утерпел и неожиданно для самого себя побежал. Он пробежал лишь несколько шагов, упал в бурьян, как подкошенный, где его и нашла вышедшая во двор бабка. Перепуганная, она кинулась переворачивать лежавшего ничком внука, а перевернув его, увидела сияющее лицо и совершенно ослепительную улыбку, какую не доводилось видеть за долгую жизнь.

– Что случилось? – спрашивала она озабоченно. – Что с тобой произошло?

– Понимаешь, это счастье, – сказал он и, видя, что бабка ничего не понимает, не возьмет в толк, добавил: – Это такое счастье – бег... Это жизнь, когда ликует сердце на бегу...

В динамики по стадиону разносится новая весть: лидерство на марафонской трассе, сделав стремительный рывок, захватил Сафар Ганиев, а тенью к нему прилепился, ни на шаг не отстает – Вольдемар Бодягин.

– Старое ружье тоже стреляет, – хмыкнул кто-то из публики.

Это в адрес ветерана, надо понимать, не то смешок восхищения, не то язвительная ехидца. Возраст его действительно всем на удивление – за сорок стукнуло, а он всё в строю, тягается с молодыми резвыми соперниками, преисполненными самых честолюбивых рвений. Уж сколько раз на нем ставили крест, в тираж списывали, мол, как можно терпеть эти нечеловеческие нагрузки, пора бы и на покой, все ровесники давно уже посходили с дорожки, растолстели, обрюзгли, а он всё выходит на старт. Может, оттого, что за долгую свою спортивную карьеру хотя и был призером многочисленных первенств, но чемпионом не доводилось, и тем, верно, опасен. Костями ляжет, но будет сражаться до последнего вдоха...

За своё долготерпение и преданность марафону Сафар Ганиев, наверное, как никто заслужил благосклонного знака ветреной фортуны, как никто достоин звездного часа последний, неисправимый романтик. Фанфары ещё первых спартакиад народов заморозили его. «Праздник был, не поверишь!» – делился он воспоминанием давно минувших дней.

В унылом однообразии жизни, упорядоченной разными гласными и негласными запретами, в серой скуке оглядок – «не пущать» и «дозволено ль сметь», беспощадных преследований мало-мальских проблесков инакомыслия спорт неожиданно оказался отдушиной для самовыражений, редкой возможностью воплощения единственно не унижающего человеческого достоинство призыва: выше, дальше, быстрее... Соревнования проводились с размахом, с грандиозными парадами, с гимнами и бравыми маршами, как народное торжество, испытывающее неутолимую жажду зрелищ, поединков в силе, отваге, ловкости – честного соперничества не корысти ради, а во имя всеобщей любви и славы. Победителей чествовали точно героев, и несмышленная детвора с горящими глазами, пробивавшаяся на трибуны, грезила о будущих триумфах и сладкоголосом пении медных труб...

Правда, результаты год от года стремительно возрастали, достижения лидеров спустя несколько лет становились уделом середнячков. Если древнегреческий герой, добежав до Марафона, упал за смертью, то показанный им результат по нынешним меркам не смог бы утешить даже последнего аутсайдера. Победы требовали всё больших трудов, всё большей отдачи, самоотверженности, а значит, и каких-то материальных стимулов. Про заработки зарубежных гениев спорта говорить не приходилось – подобное нашим и не снилось, а ведь нужно было как-то конкурировать, даже побеждать, медали завоевывать и кубки. Тогда-то и получили распространение разного рода фиктивные зачисления на должности, получение негласных стипендий, зарплат, квартир, легковых автомобилей. Сафар ничего не имел против материального стимулирования, но полагал, что спорт – прежде всего честное соперничество характеров, никак не может быть совместим с корыстью, с проявлением рвачества. По крайней мере, если в спорте должны быть призы и награды, если надлежит, учитывая огромные физические нагрузки, платить труженикам рекордов зарплату, то почему утайкой, с какой стати стыдиться, опускать глаза, когда честь по заслугам?..

Он конструктором работал на фабрике детских игрушек. Помимо бега им владела ещё одна пылкая страсть, о которой я упоминал в газетной информации, когда он стал одним из победителей конкурса гладиолусов. Ради этого увлечения он даже городскую квартиру со всеми удобствами поменял на частный дом в предместье. Приусадебный участок там сплошь засажен гладиолусами. Огурцов, помидоров или пучок лука – это, говорит, и в магазине купить можно, зато цветы у него уникальные... Триста сортов произрастает, при том есть и такие, что он сам вывел и нарек именем. Гладиолусы, оказывается, одна из самых прихотливых, капризных культур, зато отзывчивая на заботу. Потому он каждую свободную минуту, какую с трудом удается выкроить, ковыряется в земле, согнувшись в три погибели, хлопочет с пересадкой, с поливом, поглощен премудростями подкормки всевозможными удобрениями, а извлечет из рыхлого кома луковицу, держит её на ладони, как сокровище, сам светится, буквально трепещет, поясняя несведущим: «Детка!»

Таким же образом, как гладиолусы, он, похоже, и Вольдемара Бодягина пестовал. Присмотрел где-то на областных соревнованиях – способный парень, самородок с несомненными задатками вырасти в высококлассного бегуна. В доме у себя поселил, пока канитель протянется с житейским устройством, да тренироваться вместе сподручней.

Всякого мастера, известно, берedit жгучая грёза – повторить себя в ученике, но так, чтобы избежать собственных промахов, тех шишек и неудач, которых не миновать в поисках старым, как мир, методом проб и ошибок. Весьма тривиальный сей способ, при всех достоинствах пытливости, неумолимо затягивает стадию разбега, когда спортивный век и без того короток, делая до обидного скудным взлет на закате. Если уж ставить перед собой цель, то самую высокую, какую только можно вообразить!..

Всё складывалось, как и замышлялось. У опытного Сафара глаз точно у того ваятеля, что в бесформенной глыбе видит черты грядущего, незаурядного образа, если только отсечь, постукивая молотком по долоту, ненужные куски. То-то мир подивится, то-то ж ахнет изумленный!..

Правда, с жильем заминка вышла, три года тянулась канитель, которая представлялась как сущий пустяк перед величием поставленной цели. Уже и жена Сафара стала поглядывать косо, выражать недовольство, волянка ей эта весьма надоела – стесняет постоялец, сколько можно! Женщину можно было, конечно, понять – эти вечные домашние хлопоты, которых невпроворот, и результатов вечно не видать, пусть, думалось, поворчит, никто ей и слова в ответ не перечил.

Зато Вольдемар стал самым молодым в республике мастером спорта по стайерскому бегу, завоевав второе место на юниорском первенстве по кроссу и выполнив заветный норматив. В непролазную грязь, в весеннюю распутицу на труднейшей трассе по холмам, прилепился к лидеру, как клещ, так до финиша ни на шаг не отпустил. Есть в нём эта черта характера, цепкий, въедливый. Рассудительный не по годам, он сломя голову не устремился вперед, а хладнокровно держался за спиной соперника, который и привел его к желанной медали и званию...

Впрочем, Сафар Ганиев, несмотря на почтенный возраст, и сам пребывал в прекрасной форме, прибавляя год от года в результатах. Не помышлял завершать карьеру, как предрекали торопыги-злопыхатели. С какой стати покидать беговую трассу, если ощущал в себе запас неизрасходованных сил – если есть,

как говорится, порох в пороховнице! – это скорость с годами неумолимо гаснет, а выносливость зачастую прибывает.

На подъёме себя ощущал бывалый марафонец, готовился к чемпионату мира, поскольку после Парусимова твердо был вторым кандидатом на поездку – даже невольная шальная мысль закрадывалась, как это славно было бы на самом представительном форуме всех бегунов планеты завершить карьеру на мажорной ноте.

Уже и чемоданы укладывал, как в спорткомитет поступила странная какая-то анонимка. Начальство в ту пору, хотя и не очень-то жаловало эпистолярные кляузы, терпеть не могло разбираться в доносах и наветах, сетуя, откуда, мол, и выползают подколодные змеи, из каких щелей, но обязано было отреагировать. Тем паче, за кордон поездка предстояла, негоже бдительность притуплять, лучше тысячу раз перестраховаться, палку перегнуть, чем потом оправдываться за недогляд, лепетать несуразное – своя рубашка, чай, ближе к телу, и почетное кресло, понятно, дороже.

Пригласили Вольдемара для душевной беседы, мол, его ученик, должен быть в курсе, обрисуй, как на духу, что к чему, без утайки, прояви молодую принципиальность и непримиримость к вредным чертам, невзирая, как говорится, на лица. Понятно, что наставник, и вроде неловко резать правду-матку, но честь мундира в том и состоит, чтобы дать нелицеприятную оценку...

Бодягин ресницами простодушно моргал, стыдливым румянцем заливался, вроде не понимал, что к чему, о чем выведать намереваются? Ну, мол, объясняют ему витиевато, слушок есть такой – земля, известно, слухами полнится! – сигнал, можно сказать, поступил, вызвав понятную тревогу и обеспокоенность: к наживе, мол, питает склонность член сборной державы, жажда рвачества обуяла, не ровен час, уронит честь флага, запятнает, посрамит страну.

Бодягин мнется, честно рдеет, понять не может, чем наставник его проштрафился, какую сотворил провинность.

– Ты, Вольдемар, не покрывай, – говорили ему строго. – Не бери на себя чужую вину, ибо человек ты молодой, всё лучшее впереди, обязан проявлять принципиальность. Говорят, цветочками твой наставник приторговывает.

– Да, – отвечал Вольдемар с непосредственностью. – Сам выращивает, кому подарит на юбилей или на серебряную свадьбу, а кому и продаст.

– Ну-ну, дальше повествуй, – подстрекают авторитетные мужи. – Раскрывай пагубную сущность.

– Ну, не так, чтобы на базар носил торговать, к нему домой покупатели идут, валом валят, просто отбою нет, слезно просят – цветы же уникальные, и за ценой, конечно, не постоят.

– Умопомрачительно, поди, зашибает наш дорогой друг?

– Цветы, конечно, стоят того. На загляденье! Опять же и затраты немалые. И шланг купить нужно, и полиэтиленовую пленку от заморозков, и всякие удобрения.

– Всё ясно! – сказала авторитетная комиссия. – Правда, ещё один есть деликатный вопрос. Ты вот у него на квартире проживал, а деньги он за это взимал?

– Ну не сказать, что взимал, но я за то отработывал. Гладиолусы весьма при-
вередливы. Землю копал, поливал из шланга...

– Ну, конечно. Вполне определенная сложилась картина. Тот ещё тип! Спасибо за проявленную принципиальность, невзирая на авторитеты, хотя, понятно, как это было непросто...

И резолюцию вынесли: надобно молодым давать дорогу, обстреливать в крупных турнирах, чтобы в бою набирали ума-разума и опыта. Негоже, чтобы великовозрастные пни становились поперек пути преградой для роста перспективных дарований. Бодягина, ко всеобщему немалому удивлению, направили на чемпионат вместо ветерана.

А Сафару не верится, хотя сметливые, те, кто задним умом подогадливей, легко вычислили: чья несомненная выгода, тот и водил пером в благом пылу эпистолярного вдохновения. «Не наговаривайте!» – отмахивался беспечно опальный маэстро, искренне радовался за своего воспитанника – это ж надо, как круто пошел в гору.

Вскоре и квартиру получил Вольдемар в обход всех очередей и существующих правил, зарплату стал получать, числясь фиктивно в НИИ на какой-то должности. В общем, действительно, весьма круто в гору пошел. В заграничных турнирах стал часто обстреливаться, пусть громких побед пока не снискал, но это, как говорится, дело будущего – Москва не сразу строилась, опыт – дело наживное...

Зато в другом преуспел хитроумный ухватистый малый. В конъюнктуре рынка стал разбираться, как рыба в воде освоился в спросе и предложениях, в разнице цен – фарцовка, как стали потом называть, весьма доходное, прибыльное дело. Преуспевающим стал бизнесменом, сполна себя обеспечивал, ну, и благодетелей не забывал, смело в кабинеты заявлялся к тучным патронам, дорогими сувенирчиками катил шар ответной признательности.

Ладно бы только это. Другое стали в кулуарах болтать. Народ у нас, известно, чрезвычайно любопытный к подробностям чужой жизни, ничего не утаишь, никакой малости, никакой страстишки и тайной шалости. Впрочем, не такая уж и безобидная эта шалость была. К анаболикам, стали поговаривать, пристрастился. Да столь умело, изощренно овладел опытом в новейших средствах – любой антидопинговый контроль вокруг пальца обведет.

Однажды лишь на соревнованиях в Швеции заподозрили что-то неладное, скандал вроде должен был разразиться за выявленные анализами следы, но некто влиятельный быстро замял инцидент, ничего, мол, страшного, от простуды по неосведомленности принимал таблетки...

Как-то Сафар не утерпел и при встрече в упор спросил:

– Скверное про тебя болтают. Неужто правда?

– Инсинуации! – отвечал тот с простодушной невозмутимостью. – Завистников козни! В любые времена их несметная прорва, пруд пруди неудачников. – Но неожиданно добавил: – Впрочем, если хочешь, могу устроить. Исключительно из чувства признательности. Никто не докопается. Совершенно надежное средство.

– Да ты что! – опешил Сафар. – Мыслимо ль?

– Мысль-то работает, бьёт ключом! На западе давно так делают. Ихняя химия далеко шагнула вперед, творит чудеса. Они над нами посмеиваются, как над безнадежно отсталыми. Время романтики ушло, кануло безвозвратно в Лету, и ничего уже тут не поделаешь. Нынче время деловых подходов, науки и точного расчета. Зато победишь и со славой завершишь карьеру. Чем щи лаптем хлебать, лучше умишком как следует пораскинуть.

– Да ты что, как можно даже вообразить подобное! – отмахивался ветеран, возвращенный на принципах честного соперничества и романтизма.

– Ну, смотри, как знаешь. Было б предложено!..

Казалось, сомневаться не приходилось, каким хитроумным, смекалистым удался Вольдемар Бодягин, а Сафару не верится:

– Не наговаривайте. Инсинуации! Это наветы недотёп и рвачей, которых во все времена было пруд пруди...

Рассказ восемнадцатый ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА

Приближался роковой 35-й километр, о котором ещё на старте предупреждал многоопытный Сафар Ганиев. Коварство грозной отметки, не помеченной на дистанции никакими указателями, заключалось в том, что долгий трудный путь, истребовавший от каждого невероятных трат и напряжения, вдруг оказывался как бы и не в счет, когда иссякнут силы и борьба будто начинается заново, вернее, не физическое уже вспыхнет соперничество, а каких-то иных начал.

Я попросил у Константина Петровича бинокль, с которым он обычно не расставался на соревнованиях, и в нужный момент всегда мог зорко подсмотреть незримую невооруженным глазом погрешность, любой изъян в технике прыжка, даже если угораздит зацепить планку в миг её одоления кончиком мизинца. Помчался по бетонным ступенькам на верхний ярус трибун, откуда поверх деревьев тенистого парка, примыкавшего к стадиону, с высоты птичьего полета хорошо просматривалась завершающая стадия марафонской трассы, что, сделав внушительную петлю по улицам города, вновь возвращалась для кульминационной развязки на беговую дорожку главной спортивной арены. Чугунные ворота уже были распахнуты, и нетерпеливая публика толпилась у обочин...

Я навел окуляры на самый дальний перекресток, где движение транспорта было уже приостановлено. Милицейская машина с синей мигалкой на крыше пронеслась, взметая вихри горячего воздуха и подавая сигналы о приближении лидирующей группы. Затарахтели желтые мотоциклы, с которых, привстав на пружинистых креслах, сотрудники ГАИ в стальных шлемах зычно призывали зрителей теснее прижаться к бордюрам. В воздушных струях, восходящих от раскаленного зноем асфальта, замаячили размытые контуры бегунов в мокрых от пота майках.

От внезапного волнения у меня пересохло разом во рту, торопливо навел резкость, ощущая невольную дрожь в пальцах. Впереди ещё бежал Сафар Ганиев, но было видно, что он явно сдавал. Лицо его почернело, осунулось, глаза и щеки ввалились от усталости, какая-то предательская замедленность появилась в движениях, чувствовалось, что каждый шаг дается ему с трудом, требует всё больших и больших усилий. По пятам за ним следовал в свойственной цепкой манере Вольдемар Бодягин, а третьим... Я даже глазам своим не поверил, пристальной припал к окулярам бинокля. Третьим бежал, отставая лишь на несколько метров, Даниил Ольхов. Да-да, неизвестный до сегодняшнего дня в спортивном мире дружок мой... Ай да молодчина!..

Впрочем, предаваться ликования пока, разумеется, преждевременно, ибо, как уже говорилось, подвох этой злополучной отметки в том и состоит, что можно

даже лидировать с большим отрывом, но всё растерять на оставшихся километрах, даже сойти бесславно с дистанции. Потерпи, дорогой!..

Тут хитроумный Вольдемар Бодягин, уловив чутко, что Сафар сдает, предпринял решительный маневр: усилил темп и, выскочив из-за спины измотанного соперника, вышел вперед, стал стремительно наращивать своё преимущество. Сникший ветеран уже ничего не мог противопоставить дерзкому натиску, не мог ничем ответить на нанесенный с беспощадной расчетливостью хладнокровный удар. Он огляделся беспомощно по сторонам, какая-то невольная страдальческая гримаса исказила изнуренное лицо, точно у гладиатора, которому копье пронзило навывлет грудь, сознание ещё не угасло, но было очевидно, что неизбежная участь предрешена. Тут он увидел рядом с собой Ольхова, кивнул ему головой с отчаянием немой истошной мольбы: достань его, Данька! Не дай уйти... Только ты можешь это сделать, предпринять что-то в ответ нахрапистым домогательствам пальмы первенства этого глумливого рвача и пройдохи. Лишь ты способен. Дерзни!.. Сделай, пожалуйста, что можешь, он не должен уйти. Понимаешь, не должен!

И прикрыл отяжелевшие, словно налившиеся свинцом, веки...

Ольхов, поощренный многоопытным ассом, устремился в безрассудную погоню. Он настиг беглеца, и мало того – сгоряча сам вышел вперед. Наверное, этого не следовало делать. Руководствуясь здоровой логикой и трезвым расчетом, следовало попридержать себя за лидером, поберечь силы, но молодость запальчива и безрассудна. Так уж заведено в бесшабашном рвении: либо грудь в крестах, либо голова в кустах. Третьего не дано!.. А тут мало, что роковая отметка тридцать пятого километра, да ещё начинался затяжной крутой подъём в гору...

Милицейская машина с синей мигалкой на крыше словно взмыла ввысь в струях раскаленного воздуха, скрылась за далекой, маячащей впереди макушкой бугра, как растворилась. Желтые мотоциклы с грохотом и удушливой вонью от выхлопных труб помчались следом, один из седоков в стальном шлеме, должно быть, самый смешливый, обернулся к Даньке, что-то прокричал, стараясь перекрыть рев мотора, но толком не разобрать пожеланий. Ах, вон что! Это он помедленнее бежать призывает, а то, мол, у него мотор греется. Прояви, мол, сознательность и сострадание. Остриг заядлый шутник! Впрочем, Даньке сейчас отнюдь не до шуток...

Ширь распахнувшегося перед взором проспекта будоражит, как-то по-особому подстрекает простор, свободный от автомобилей и потных, мельтешащих перед глазами спин, и внезапная тишь подхлестывает, когда никто не дышит надсадно в затылок, не пыхтит рядом горячо и шумно. Даниил ещё прибавляет скорости, а с горы будто катится на него огромный огненный ком, застилающий небосвод. Данька упирается в него грудью, толкает наверх, сопит и стонет от надсады, такой уж тот огромный, непомерно тяжелый, что, сдается, стоит приостановиться, разом раздавит, покотившись вниз, проутюжит. Данька упирается ногами, упирается в ком грудью, хрипит от напряжения, задыхается в огненном пекле. Всё плывет перед глазами, да ещё едкий пот заливает их ручьями. Когда же он кончится, этот нескончаемый тягун?

В голове что-то ухаёт паровым молотом, как по наковальне, ноги подкашиваются, моченьки, кажется, нет никакой. Иссякла. Ни одной капли, самой крохотной, похоже, не осталось. Выдохся. Зачем, думаешь, это ему нужно? Какой прок от

этих нечеловеческих усилий? А может, только затем и нужно, чтобы выстоять до конца, продержаться, как бы ни было тяжело и скверно, как бы ни хотелось хоть чуточку приостановиться, хоть чуточку перевести дух. Выстоять, и всё тут. Просто выдюжить!.. Он стонет от напряжения, упирается в раскаленный ком, толкает его вверх, наперекор всему, вопреки очевидной зрешности всей этой затеи...

Неожиданно легкое свежее дуновение пахнуло в пышущее от огня лицо. Данька чуть приоткрыл набрякшие от перегрузки, залитые едким потом глаза и обнаружил, что он уже на вершине бугра. Вдали, в сизовой дымке привычного для городских улиц смога маячила серая громада бетонной чаши стадиона. Бодягин отстал, бег его сделался каким-то запинаящимся, скомканным, и уже неистовый Парусимов, собрав волю в кулак, неумолимо наступал на него.

Замечательный спурт – что и говорить! – удался Даниилу Ольхову. Если отбросить ложную скромность, то со всей определенностью можно сказать – беспримерный рывок! Такой солидный отрыв от соперников удалось совершить, создать необходимый запас прочности, чтобы одолеть успешно последние километры. Теперь важно не суетиться, не форсировать успех, чуточку расслабиться, передохнуть, позволить себе этакую роскошь, совсем немного осталось. Нужно просто потерпеть, отлично же он терпел всю эту долгую, нескончаемо долгую дистанцию. Даже нашел в себе сил и отваги, чтобы предпринять совершенно безрассудное ускорение на затяжном подъеме в гору, когда никто этого не ожидал. А уж от новичка марафонской трассы тем паче никто не предполагал подобной прыти. Теперь сущие пустяки остались, до финиша уже рукой подать, одолеть не составит особого труда...

Но не тут-то было! Легкие в груди, словно выжженное огненным комом дупло, не впитывают больше воздух, вдыхаешь запекшимися губами, хватаешь с жадностью, а будто нечем впитывать. В желваках скул точно по пудовой гире, зубы ломит от напряжения, да так нестерпимо, что голова раскалывается, а в затылке отдает тягостным уханьем. Вот она – цена столь замечательного спурта при подъеме в гору! – сполна приходится расплачиваться за сумасбродство... Ноги стали ватными, плохо слушаются, молотишь ими, прилагаешь уйму усилий, просто наизнанку готов вывернуться, подстегивая себя надсадными распеканиями и чертыхательством, но без малейшей пользы – выписываешь лишь какие-то замысловатые кренделя и зигзаги.

Ворота стадиона всё ближе и ближе. Люди, столпившиеся у обочины, образовали живой коридор, орут истошно. Наиболее отзывчивые, сердобольные, видя эти несносные муки, готовы ринуться на помощь, поддержать, не дать рухнуть на асфальт, но самые опытные из болельщиков осаждают рьяность, одергивают несведущих за рукав – медвежьей услугой это окажется, никак не подмогой, поскольку всякая посторонняя помощь категорически запрещена правилами, а значит, придирчивые строгие судьи тут же дисквалифицируют беднягу, снимут с соревнований. Какая с того помощь? Только и остается криком ободрять, голосовые связки надсаживать, выражая сочувствие и сопереживание.

Однако за шумом в ушах Ольхову толком не разобрать, отчего столь истошный ор? Чтобы поднажал? Ну, этим, пожалуй, он и сам пуще всего озабочен, просто скверно что-то выходит. Об экономии сил, когда остались какие-то считанные сотни метров, уже и говорить не приходится, ясно, что нужно выложиться без остатка, только и последних крох уже не осталось.

Нет, о чем-то ином кричат? Из призывных криков так и не понял ничего, зато почувствовал буквально спиной горячее дыхание преследования. Оказывается, это Парусимов, обойдя Бодягина, не успокоился на том, стремительно настигал лидера, и внушительное, завоеванное с таким трудом преимущество сокращалось с неумолимостью, таяло легко, буквально на глазах.

Поровнявшись, они вместе вбегают в ворота стадиона, но на вираже перед финишной прямой неsgiбаемый, легендарный Серега Парусимов уже на несколько метров впереди. Обычно подобный ошеломляющий удар оказывается столь сокрушительным для соперника, что, поверженный, он утрачивает всякую способность к сопротивлению и борьбе. Хоть голыми руками, как говорится, бери.

Но произошло что-то неожиданное. На глазах изумленной публики Ольхов рванулся вдогонку. Сил, разумеется, уже не осталось. Было лишь какое-то острое, жгучее до свирепости желание, но и оно куда-то исчезало, проваливалось, просачиваясь как сквозь решето, и требовались невероятные усилия, чтобы удержать его, ухватиться за блеклый ускользающий отблеск и бежать.

Стадион гудел и неистовствовал. Зрители вскочили с мест, захваченные неслыханным соперничеством. Никто не хотел уступать, когда сгинуть вроде достойней, чем сдаться или уступить хоть на йоту...

Ольхов догонял Парусимова. Он бежал и не помнил своего бега. Странно, сил не осталось, а он будто вырастал над собой, восходил над собственным изнеможением и слабостями, как будто опорой ему была какая-то волшебная гора, и лицо его, осунувшееся, потемневшее от усталости, вдруг озарял неяркий внутренний отблеск. Или это мне показалось?

Они одновременно пересекли линию финиша, и нельзя было ничего сказать определенного, не рискуя впасть впросак, – кто победил? Позади было два с лишним часа напряженной, изнурительной борьбы, а разделили их какие-то неуловимые тысячные доли мгновений.

Пока проявляли пленку фотофиниша, Ольхова, повалившегося на траву футбольного газона, отхаживала медицинская сестра, заботливо подносила к носу ватку, смоченную нашатырным спиртом, а он отфыркивался, капризно морщился, как младенец, и сходство это ещё более усиливало блуждание на лице какого-то незамутненного блаженства.

Он, честно говоря, даже не задумывался – кто победил? Куда важнее было другое, то, что он сам в себе ощутил, будто приоткрыл неведомую дверцу, перешагнув через какой-то недостижимый прежде рубеж, осознав, что возможностям человека нет предела, что от этой черты только и начинается настоящая тайна, которую не знает никто и которую каждый должен в себе разгадать.

Я сбегал по ступенькам трибуны, протиснулся сквозь толпу восторженных болельщиков, кинулся поздравлять друга, крича в ухо:

– Ну и произвел ты фурор! Настоящая сенсация и смятение умов!..

Он краснел, конфузился, непривычный к похвалам и лестным оценкам, отмывался, словно желая увернуться, а я вспомнил про загадочную депешу, которую носил с собой в кармане.

– Кстати, я заходил на главпочтамт, как ты просил, странная какая-то там тебя поджидала телеграмма. Вчера не успел отдать, может, и к лучшему, надо же, как здорово всё удалось...

Протянул ему депешу, а сам пытливо заглядывал в глаза, какая последует реакция?

ВЫШЕ ГОР СТАНОВИТСЯ ЧЕЛОВЕК, КОГДА С ОТВАГОЙ И БЕЗРАС-
СУДСТВОМ УСТРЕМЛЯЕТСЯ К ВЫСОКОЙ ЦЕЛИ.

– Это ж Вероника! Помнишь, когда мы ещё только начинали работать в типографии, она была корректором многотиражки. Раз в неделю, по четвергам, приходила в наборный цех... Потом поступила в Московский университет на факультет журналистики...

– Выходит, – сказал я с невольной тоской в голосе, – все эти годы ты помнил о ней как о даме сердца, помнил о своей клятве?

– Зачем же так! Несерьёзно!.. У неё семья, близняшки подрастают. Она в столичной газете работает, ведет уголок молодой матери, всякие наставления дает... Просто накануне первенства попала на глаза газета с её материалами. Так и озаглавлены – «Советы Вероники». Неужели, думаю, она? Тут и спохватился... Пять лет исполняется, как клятву давал, что стану чемпионом. Потому и написал... Не знаю, удалось ли зарок сдержать?.. Сердцем-то моим, сам знаешь, другая безраздельно владеет и повелевает...

В это время из судейской комнаты легкой прытью выскочил Данькин тренер Маслобойщиков; бусинки пота поблескивали на его массивном лбу, на лице блуждала какая-то ошалелая улыбка:

– Ты чемпион! – выкрикивал он на бегу, захлебываясь и задыхаясь от ошеломляющей вести. – Просто фантастика! Пленку фотофиниша только что проявили и единодушно тебе присудили пальму первенства... Никто поверить не может, чтобы необстрелянный новичок и вдруг стал чемпионом. Сроду подобного не случилось за всю историю чемпионатов. Не тот ли, спохватились, что фальстарт сделал, всех ещё насмешил? Теперь-то понятно, куда он так спешил. За золотой медалью!..

Все кинулись наперебой поздравлять Ольхова, оттесняя меня локтями, а он отбивался, размахивал руками, словно пытаясь досказать что-то, объяснить без утайки и кривотолков, чертил в воздухе замысловатые вензеля... Впрочем, это было напрасно. Я ведь всё знал. Я ведь был рядом, когда блистали молнии, майский гром грохотал, истертые половицы слабо дрожали, гудели бревенчатые стены, точно корпус контрабаса, и сладкое это пение, отблеск молний угадывались в глазах двух моих друзей, взгляды которых пересеклись поверх деревянной пирамидки, утыканной линейками, уставленной шпонами, пеналами со шпациями...

Спотыкаясь, падая и поднимаясь, с упорством за гранью возможного человек устремляется к высокой цели, становясь всё выше, по той лишь простой причине, что у повелительницы совершенно необыкновенное имя, а милое лицо чуть присыпано смешной позолотой веснушек.

Рассказ девятнадцатый ЦВЕТЕНИЕ УРЮКА

Пришел и на нашу улицу праздник. Всякое бывало: неудачи, грех отчаяния, лиловые шишки и ссадины падений, одурь трудов и невнятных плутаний, одурь долгого, долгого терпежа, особо отмеченного из всех присущих черт печатью несомненного гениального дара, но выпало изведать сладкий вкус успеха, не обделил желанный миг торжества.

Я бежал на первом этапе. Мне, как правило, в спринтерской эстафете поручался первый этап, поскольку в момент разгона со стартовых колодок мог выиграть даже у сильнейших спринтеров. Правда, справедливости ради следует заметить, что на второй половине дистанции они по обыкновению компенсировали упущенное с лихвой, но на этот раз нами был задуман тактический ход, тайная уловка домашней заготовки...

Я на редкость удачно принял старт. Чутким ухом – чуть раньше всех! – уловил грохнувший выстрел стартового пистолета и буквально из ничего, в несколько шагов сумел создать преимущество, развив предельную скорость. Чувствовал, как легко и раскованно растёт моё превосходство, пока ретивые соперники с искаженными от отчаяния гримасами, едва опомнившись, ринулись вдогонку. Но тут-то их и поджидал заготовленный нами сюрприз.

Генка Грошев вынес отметку начала своего разбега далеко за пределы коридора, где должна была произойти передача эстафетной палочки, – правилами соревнований это разрешалось. Едва завоеванное мной преимущество стало таять, Звездочет уже начал свой разбег. Как мы и рассчитали, я настиг его буквально у белой черты, отмечавшей начало коридора, посему моя дистанция существенным образом сократилась, зато увеличилось поле деятельности для нашего лучшего спринтера, предоставляя ему возможность проявить себя во всем блеске.

Я зычно выкрикнул:

– Хоп!

Звездочет, заслышав условный сигнал, откинул, не оглядываясь, назад руку, и я на предельной скорости точно вложил в неё эстафетную палочку.

На этот раз мы не допустили оплошности, что произошла с нами в прошлом году. Накануне старта мы буквально целый день ходили по городу, шлифуя с невозмутимым видом под язвительные ухмылки прохожих технику передачи эстафеты, а на соревнованиях уронили её. Правда, она не успела тогда даже долететь до земли, как сноровистый Грошев каким-то немыслимым образом сумел подхватить её на лету, но драгоценные доли секунды из-за заминки были, понятно, потеряны.

Теперь всё вышло без сучка и задоринки. С той редкой слаженностью, какую не отрепетируешь на тренировках, но приходит с годами, как чувство локтя, – с полуслова, с полувзгляда. Словом, пока на соседних беговых дорожках происходила жуткая суматоха, невообразимая толчея с неизбежными осечками, воплями и драмой, Генка Грошев уже выскочил с виража на прямую, мчался, стремительный и легкий, словно вихрь, как и надлежало бежать лучшему спринтеру универсиады, наращивая с каждым шагом своё неоспоримое превосходство.

С неугомонным Грошевым вечные беспокойства, никогда не знаешь толком – чего можно от него ожидать? Мало того что он всю ночь напролет отсутствовал, кровать его в комнате общежития так и осталась неразобранной – бродили с Марией до самого рассвета, верх легкомыслия и беспечности перед ответственным стартом, от которого зависела судьба командного первенства! – так он ещё и перед стартом запропастился куда-то, мы с ног сбились, всё обыскали. А он забился в укромный уголок раздевалки, отрешенно вычислял что-то на листках бумаги, забыв обо всем на свете, циркал с неистовым вдохновением. Нашел, оказывается, новое уравнение и с его помощью вычислил на небосводе новую звезду, которую и в телескоп не разглядеть...

На третьем этапе бежал Шумов-Корабельский. Константин Петрович всю ночь, должно быть, не спал, промучился, взвешивая все за и против, прежде чем включить его фамилию в заявку. Конечно, риск был весьма велик, но он вполне оправдался. Шумов, хотя и не обладал хорошей скоростью, зато с присущим прилежанием принял эстафету от Грошева, а затем без заминки вручил её Толяну Забубенному. Отсутствие какой-либо заминки компенсировало потери в скорости, и наше преимущество обозначилось ещё очевидней...

На финишную прямую Толян вырвался первым, и тут он показал себя во всем блеске, будто желая восполнить то, чему не суждено было сбыться в короткой, как эта стометровка, поре честолюбивых спортивных чайний, что неизбежно приходилось приносить в жертву главному делу жизни. Он мчался, выпятив свою могучую грудную клетку, впереди всех соперников, не оставив им ни малейшего шанса, и под взрыв рукоплесканий трибун первым пересек линию финиша.

Такой безусловной, яркой оказалась наша победа, хотя никто её нам не прочил, никто не предрекал, ибо другие команды были по своим составам куда сильнее. В том и состоит парадокс командной борьбы, когда побеждает не сложение результатов, а слаженность, взаимопонимание, чувство локтя...

Словно ошалев от внезапной радости, мы кинулись поздравлять друг друга, и кости наши сладко похрустывали в тисках объятий.

Потом нас пригласили к пьедесталу почета, церемонно чествовали. Под звуки фанфар мы, счастливые, лепились на верхней площадке фанерного ящика в приятной тесноте, ощущая крепость плеч друг друга...

Таковыми мы и запечатлены на снимках во всех газетах. Таковыми, словно феерической вспышкой, и врезались в памяти по нынешний день.

Хотя с той поры мы весьма изменились.

Самая внушительная фигура теперь у Толяна. Тучность его живота вполне соответствует авторитету его званий и регалий. Он доктор физико-математических наук, причем стал им в тридцать лет – самым молодым доктором наук в республике. Он заведует кафедрой в университете, всё так же, как в былые годы, бренчит на гитаре. Недавно по местному телевидению была большая передача с его участием. Он скрежетал сиплым голосом песенки собственного сочинения, а я смотрел и раздувался от гордости за него, радовался, как несказанному везенью, что так удачно переключил программу, хотя и знать не знал о предстоящем его выступлении.

Звездочет тоже стал знаменитостью. Как только закончилась бесславная пора гонений на астрологию и прочие, по терминологии прежних лет, псевдонауки, он сразу оказался увенчанным разными мантиями, степенями, медалями на огромных цепях, причем, как правило, медали эти украшены всевозможными драгоценными камнями, есть, кажется, и с бриллиантами. Впрочем, самому мне их не доводилось видеть, ибо у друга моего куча неотложных дел и забот, да и в родном городе он бывает крайне редко, больше по разным странам мира разъезжает, где только уже ни побывал.

Преуспел и Шумов-Корабельский. Неожиданное призвание для своего пера он нашел в рекламе. В былые годы ведь реклама была в загоне, служанкой и бедной родственницей из всех муз, а теперь она в фаворе – двигатель торговли. Причем по странному стечению обстоятельств первые самые удачные его рекламные ролики

оказались те, что прославляли табачные изделия, словно в пику тем стихам, от которых проистекал, был родом звучный его псевдоним...

Единственный, кому ни в чем не довелось преуспеть, как нетрудно догадаться, – ваш покорный слуга. Всё, что напророчил Звездочет, как накликал пустые хлопоты, как накаркал зрящность усилий – так всё и сбылось. Впрочем, я ведь и сам знал, что горечью этой, свирепой и жгучей, ещё буду постигнут. За упрямство трудов, не сулящих выгод, за годы, потраченные бестолково на поиски слов. Самых лучших, заветных. С провидением великой цели, с предчувствием неутолимой вечной любви – самых нужных для мира слов. Конечно, я не оставлял неподъемных трудов, ни на день не оставлял, ни на час, хотя хлеб насущный этим занятием не зарабатывал. Просто научился обходиться без бумаги, без письменного стола, писал всё в голове – по дороге домой или из дома, пешком ли, в тряском, переполненном автобусе, за чисткой зубов, в чтимые, как закон, обеденные перемены вместо доуки постылых трапез, перед экраном телевизора, несущего с неизменным постоянством вздор, в бесконечные – самые благоприятные! – часы бессонницы. По сути времени, оказалось, можно выкроить вполне достаточно. Просто я писал свои книги в голове и складывал их там на особо выделенную полку, как говорится, до лучших времен. Вот только время новой словесности, помявшейся оробело у порога, так и не наступило.

Теперь уже нет нужды взбираться на верхотуру, сколоченную из грубых горбылей и досок в пылу азарта безымянными энтузиастами, чтобы увидеть за бугром в лагуне, подернутой изумрудной ряской, поджидающую тупоносую лодку из темного дерева.

Вращением нашей неугомонной планеты берег мой придвинулся таким образом, что лодка покачивается на зелени вод моих снов. Так бывает...

...Из косточки, брошенной некогда небрежной рукой, проклюнется росток, выбросит толстые багровые семядоли. Счастливо уцелев среди столпотворений, напасти ожесточений, росток поднимется, окрепнет, станет деревом – раскидистым урюком. Долгие годы он шелестел листьями, трудился корнями, копил исправно сердечные силы, чтобы собрать их в крохотной почке, скопив жар и огонь желаний. И вот однажды, доверившись ласке теплого весеннего ветерка, урюк преобразится, весь покроется нежными цветками, привлекая ароматом, пыльцой, нектаром мудрых пчел и тая в себе робкую надежду, что когда-нибудь мир изменится, отведав с дерева сочных плодов. А небо, лазурное, бездонное, как в детстве, вдруг затянут лохматые темные тучи, невесть откуда налетит свирепая стужа. И уже кружат в воздухе узорчатые хлопья, липнут на ветках, гнут их мокрым рыхлым грузом – смотришь и не разберешь, где лепестки, а где пушистый розовый снег...

